

**СЕРГЕЙ  
АЛЕКСЕЕВ**

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАИНА

Сергей Алексеев  
**Возвращение Каина**

«Алексеев Сергей»

1994

## **Алексеев С. Т.**

Возвращение Каина / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей», 1994

Россия. Начало 90-х. В загородную усадьбу возвращаются наследники дворянского рода Ерашовых. Старший, Алексей, ушел в отставку с военной службы, собирается перевезти в поместье жену и сыновей. Младший, Кирилл, выпускник танкового училища, встретил свою любовь и мечтает о свадьбе. Приедет сестра Вера; возможно, найдется брат Василий, заглянет к родным пенатам Олег... Все пятеро выросли в детском доме, отчаянно старались держаться вместе, но судьба повела их разными дорогами, и теперь впервые появилась надежда начать новую жизнь. Той же надеждой дышала вся страна – под угрозой гражданской войны и второго штурма Дома правительства. А гражданская война порождает каинов... Сколько родов пресеклось в огне Гражданской и обеих Мировых войн? А сколько людей погибло в войне советского государства с народом? По сравнению с этими потерями гибель нескольких десятков человек во время штурма Белого дома и сопутствующих ему событий кажутся мелочью. Но они имели право быть сейчас рядом с нами. И вот их нет... Эта книга рассказывает об их судьбах, и о странных нравственных законах внутри нас, которые не мешают россиянам убивать друг друга... В 1994 году остросюжетный роман «Возвращение Каина» был удостоен премии им. М.Шолохова. Роман также издавался под названием «Сердцевина».

© Алексеев С. Т., 1994

© Алексеев Сергей, 1994

# Содержание

1	5
2	20
3	34
4	47
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# Сергей Трофимович Алексеев

## Возвращение Каина

### 1

Всю жизнь Аристарх Павлович ждал весны, причем какой-то особенной, и каждый год в последний зимний месяц начинал к ней готовиться, обнадеживал себя. Ну, мол, на этот раз уж точно будет такая необычная, такая восторженно-приятная, произойдет что-то небывалое. И искал приметы – смотрел на солнце сквозь темное стекло, наблюдал за деревьями, за лишайниками, за тем, как пробивается трава, какая птица первая запоет, когда кукушка закукует. Всякий раз все совпадало, однако весна приходила самая обыкновенная: стаивал снег, и воронье, зимующее в Дендрарии, разлеталось по всему свету, потом зеленели трава, деревья, и он с легким сожалением замечал, что это опять не та весна.

Такой же вот рядовой весной у него заболела жена и ровно через год, опять же весной, умерла. А врачи говорили: дотянет до тепла – выживет, ты только ее каждый день води в сосновый бор дышать воздухом. Аристарх Павлович водил, и до тепла она дожила, могилу копали по талой земле... Весной же старшая дочь Ирина не стала в школе даже экзамены сдавать, уехала в Москву, недоучившись, поступила на какие-то курсы маляров и осталась там жить. Через год другая, младшая, Наталья, с горем пополам закончила десятый и к старшей уехала. Весной же у него и дачу спалили, которую пять лет строил сам, всю деревом отделал, узорами, точеными балясинами, – терем, а не дача. В общем, вёсны пока только приносили несчастья, однако он все равно ждал и надеялся на следующую.

По характеру Аристарх Павлович был человеком противоречивым. На вид высокий, мощный, но серьезная эта стать никак не сочеталась с говорливостью, и потому его считали несколько легкомысленным человеком. В молодости он закончил Институт лесного хозяйства, но никогда не занимал руководящих постов, хотя видом напоминал большого начальника. А если хотел, то мог такового изобразить, сыграть ради удовольствия – построжитьсь, бровь изломать, побрякать и потом над собой же посмеяться. За его барствленную страсть Аристарха Павловича не любило начальство, поскольку он как бы отнимал и незаконно пользовался его атрибутами. Когда он остался совсем один, то отпросился с должности инженера в управлении лесного хозяйства и пошел в лесники зеленой зоны – места возле города были заповедные и еще не загаженные, если не считать исправного и почему-то заброшенного военного аэродрома. К тому же обход его начинался чуть ли не от дома. В лесниках Аристарх Павлович окончательно раскрепостился и стал еще говорливее, потому что, бродя по лесу, очень скучал от одиночества. Но в доме поговорить было не с кем, и, возвратившись с обхода, он отправлялся в оранжерею Дендрария, где работали одни женщины. Долгое время Дендрарий относился к лесничеству, пока его не передали в ведомство Горзеленхоза и сделали научным учреждением. Правда, от этого ничего не изменилось, на скудные средства можно было лишь латать дыры в оранжерее, попросту называемой теплицей.

Обычно Аристарх Павлович кипятил электрический самовар, собирал на старинный серебряный поднос вазы с конфетами, печеньем, колотым сахаром, чашки с блюдцами и отправлялся чаевничать к женщинам. В оранжерее, среди пальм и прочих южных растений, стоял длинный стол для этого случая. Всякий раз женщины восторгались посудой Аристарха Павловича – розетками с позолотой, серебряными вазами и ложечками, изящными чашками старинного фарфора, – иную и в руки-то взять боязно, до чего хрупкая. Ситечко у заварника, щипчики для сахара – все было музейное и невероятно дорогое, и привыкнуть к этому было невозможно.

– И не жалко такую красоту каждый день на стол выставлять? – спрашивали его. – А если разобьешь?

– Жалко! – признавался Аристарх Павлович. – Еще как жалко! Каждый раз несую чашку ко рту – душа замирает. Зато как красиво да вкусно! Я из старинной посуды чаю попью – на целый день прекрасное настроение и глаз блестит, будто от рюмки. Вы вот только посмотрите, сколько тайны в ней, в этой посуде! Сколько народу из нее чай пило? И ведь не разбили до сих пор! Да какие люди в руках это держали!.. Смотрите вот, ложечка, круглая, витая, в моей руке! Держу и волнуюсь! Как представлю, что молодая барынька Варвара Николаевна сидела вот так же за самоваром, и этой ложечкой варенье в свой ротик несла, и губками касалась... Сердце к горлу подкатывает! Ведь я через эту ложечку будто поцеловался с ней! Эх!.. На старом кладбище были? Видели ее могилу? Портрет ее, скульптурный, из черного мрамора... Видели? Какая она была прекрасная! Эх, ти-имать!..

Случалось, в волнении он поругивался при женщинах, но одним-единственным словом, которое никогда не звучало пошло, а скорее, наоборот, выражало состояние его души в ту или иную минуту.

– Ты бы, Аристарх Павлович, сдал в музей свои сокровища или в комиссионку снес, – предлагали ему женщины, когда он бедствовал от безденежья. – Да и опасно нынче такую ценность в доме держать.

– Да сдал бы, – соглашался Аристарх Павлович. – Есть что сдать, да посуда чужая... Слышали, потомки Ерашовых отыскались? Месяц у меня жили, теперь переезжать собираются... Придет Алексей Владимирович Ерашов, или братья его, или сестра Вера Владимировна, скажут: где наше фамильное серебро? Где стекло да фарфор? Вон, смотрите, на каждой вещице – вензель с инициалами... И мое, и не мое... Разобраться, так и квартира у меня чужая, хотя еще во время нэпа дедом куплена. Дом-то Ерашовым принадлежит, их родовое поместье, и Дендрарий вовсе не Дендрарий, а барский парк. Все ведь руками их предков посажено... Сейчас вот дело идет к возвращению награбленного, и Ерашovy нынешние дураки будут, если не вернут усадьбу. Хотя бы дом один вернули, им бы как раз было: ведь в живых четыре брата и сестра, все молодые, пять семей...

– А куда же жить пойдешь? – спрашивали женщины. – И остальных жильцов куда?

– Остальных – это меня не касается, – отвечал Аристарх Павлович. – Пусть городские власти переселяют. Я же тут останусь. Вон там возле озера дом моего прадеда стоял, деревянный, двухэтажный, с гульбищем. Его как памятник архитектурной застройки придется восстанавливать. Пусть Ерашovy мне только стены поставят под крышу. Остальное я сам сделаю. И буду жить. Хочу здесь жить, люблю это место. Мой прадед лесничим у Ерашовых служил, столько деревьев в парке посадил, каждое могу показать.

И всякий раз, когда Аристарх Павлович чаевничал в оранжерее, кто-нибудь из женщин обязательно замечал, дескать, жениться бы тебе, молодой еще, недавно пятьдесят отмечали. Что станешь делать один в двухэтажном доме? Аристарх Павлович косился на самую молодую из женщин – единственного научного сотрудника Дендрария Валентину Ильинишну, однако предлагал самой старой, Наталье Ивановне:

– А вот выходи за меня! Ведь не пойдешь, тиимать!

– Куда уж! – ахала она. – Да и муж у меня!

– Мужа отобьем! – смеялся он. – А с тобой еще трех сыновей родим. Представляешь, иду я, а за мной еще три сына!

– Чтоб рожала, помоложе найди. – Наталья Ивановна совсем не понимала шуток, и Аристарху Павловичу нравилось дразнить ее.

– Мне только тебя надо! Сердцу не прикажешь... Ну ладно, я подожду, когда овдовеешь.

– Ой, дурак же ты, Аристарх Павлович, – обижалась она. – Что ты говоришь-то?

– Ну, тогда уходи от него!

– Как же я уйду, если всю жизнь с мужем прожила?

Чаепитие в теплице заканчивалось вместе с рабочим днем, и Аристарх Павлович забирал поднос с посудой и шел домой, чтобы там вымыть ее, обтереть и поставить в старинный, с граненым стеклом, буфет. Оставшись без жены и дочерей, он содержал квартиру в такой чистоте, которой и при женщинах не было. Мыл, чистил и протирал больше от тоски и одиночества, и делал это через силу, потому что чувствовал постоянную какую-то мечтательную лень. Ему больше нравилось просто лежать на диванчике с гнутыми ножками и часами воображать невесту что. Однако фантазии его были приятными, когда в доме царили покой и чистота. Чаще всего он начинал думать об утраченной жизни, которая существовала в этом доме, и будто наяву слышал голоса давно умерших или погибших людей. Внизу, под квартирой Аристарха Павловича, жила единственная дальняя родственница Ерашовых, бабушка Полина. Она давно уже не вставала с постели, не выходила на улицу, и Аристарху Павловичу с детства казалось, что она все время была старая. Она помнила еще тех, прежних, Ерашовых и рассказывала о них почти сказки, которые, правда, заканчивались печально и трагически: одного убили, кто-то умер от тоски, кто-то всю жизнь просидел в лагерях, кто-то покончил с собой. Но это в финале, а сама их жизнь была какой-то романтической, заманчивой, и вот эту жизнь Аристарх Павлович воображал себе, когда ему в доме становилось покойно и уютно. И от Ерашовых мысли постепенно переносились к себе самому, и он представлял, как бы существовала жизнь в доме, если бы оказалась тут Валентина Ильинишна. Он видел ее в длинном платье, с высокой прической, с колечками волос у виска, плавную, медлительную, с движениями, полными благородства и достоинства. Валентине Ильинишне было немного за тридцать, и выглядела она очень современно – джинсы, куртки, майки, волосы в пучок, но стоило в воображении переселить ее в этот старый дом, как она мгновенно преобразалась. Аристарх Павлович знал ее уже лет десять, с тех пор как она после института пришла работать в Дендрарий и была совсем девчонкой. Однажды они встретились в лесу неподалеку от заброшенного аэродрома. Была весна, и Валентина Ильинишна выкапывала дички – унесенные ветром и случайно проросшие семена редких пород деревьев. Самое странное, что они ни слова друг другу не сказали: встретились, постояли под деревом, посмотрели друг на друга и разошлись. И что-то произошло той весной! Проросло какое-то семя, пробился из земли дичок. Не завял с годами, но и не вырос, потому что не пришло ему время. Но сейчас этот побег вдруг потянулся вверх и стал бурно ветвиться, и то, что раньше казалось нереальным, начало приобретать плоть. Он ли начал молодеть после пятидесяти, она ли повзрослела, но Аристарх Павлович перестал считать себя старым для нее.

Однажды в аэропорту Аристарх Павлович увидел одну такую пару и долго наблюдал за ней. Молодая женщина возле своего мужа в зрелом возрасте смотрелась очень уж нежной и удивительно легкой. Он же, умудренный и седоватый, казался мужественным и всемогущим. Двинет бровью, и любое желание ее исполнится в тот же час. Заметно было, что женщина тяготится обилием народа, суетой, шумом и тоскует по одиночеству вдвоем; иногда она ласкалась к мужу, но очень тонко, неуловимо, понятно только для них. То как бы невзначай тронет пальчиком его губы, то слегка прикоснется лбом к короткой седой бороде или едва видимо проведет коготками по его горлу. Аристарха Павловича от таких чужих ласк бросало в озноб, а муж ее словно мраморный был и лишь смотрел на нее с затаенной любовью. И вот Аристарху Павловичу хотелось не просто жениться, но какой-то особенной близости с Валентиной Ильинишной. Он и звал-то ее про себя лишь по имени-отчеству, ибо не мог, не смел унижить, называя только по имени, ее высокого достоинства и целомудрия. В своих воображаемых картинах их жизни он даже исключал возможность женитьбы, чтобы опять же не умалить отношений обыкновенным супружеством. Он представлял, что встречается с ней тайно, в глухих уголках Дендрария. Дождливый поздним вечером она приходит на свидание под Колокольный дуб (когда-то между его отростками висел пожарный колокол), и они стоят под одним зонтиком, целомудренно прижавшись друг к другу. И больше ничего! И оба знают, что встреча эта

всего на минуту-две. Нужно успеть надышаться друг другом, а потом быстро разойтись в разные стороны и не оглядываться, чтобы не было смертельной тоски до следующего свидания. И вот новая встреча, возле купальни, на самом деле полузаросшей лужи, однако в воображении облагороженной: на воде плавают желтые листья и опять идет дождь. Они сидят в беседке, за столиком друг против друга и лишь слегка касаются пальцами. И тоже пора размыкать руки...

А преград для их свиданий не было никаких! И наверное, многое из мечтаний Аристарха Павловича воплотилось бы в жизнь, не случись прошлой весной таких событий, которые круто повернули жизнь.

Вдруг ликвидировали Поместное лесничество и уволили Аристарха Павловича. Он вначале обрадовался и попробовал пойти на службу в Дендрарий, но там уже шло сокращение, и при всем уважении к нему даже места сторожа не нашлось. Оставалось одно – идти наниматься в Институт вакцин и сывороток, ферма которого вплотную примыкала к Дендрарию и представляла собой длинный ряд новых каменных конюшен за высоким, кое-где недостроенным забором из железобетонных плит. Там Аристарху Павловичу предложили на выбор две должности – конюха и сторожа. Зарплата у конюхов была много выше, и ходили они чаще всего в белых халатах, но Аристарху Павловичу не нравилась их служба. Накормить коней, почистить денники – куда ни шло, можно в удовольствие делать. Однако кроме этого каждый день надо было водить двух-трех лошадей на забор крови. В донорском зале, где пахло бойней, коня ставили в специальный станок, надевали носовертку, заворачивали так, чтобы лошадь от боли не шевельнулась, пока не набежит полная бутылка с резиновой пробкой. Кони знали, куда их ведут и зачем, и многие не могли привыкнуть, начинали биться, ломали себе ноги, выкручивали руки конюхам, орали, как люди перед смертью, а глаза! Какие у них при этом были глаза!..

Посмотрел на это Аристарх Павлович и сумел только сказать:

– Т-тиимать!..

И пошел сторожить конеферму. Однако производство есть производство. Аристарха Павловича то и дело начали посылать в донорский зал на подмогу ветеринарам, которые забирали кровь, мол, днем сторожу все равно делать нечего, а там женщины с конями маются. Тебя же здоровьем и силой Бог не обидел. С одной стороны, и правильно, с другой же – душа не терпит. С месяц он ходил и помогал, но однажды завели доходного коняку в станок, воткнули в жилу иглу и только новые бутылки подставляют. Конь уж и дрожать перестал, глаза закрыл.

– Т-тиимать! – закричал Аристарх Павлович. – Вы что делаете?!

– Этот на списание, – отмахнулась ветеринарша. – Последний раз мается...

И выточили из коня всю кровь! А потом для порядка перехватили горло ножом, подцепили челюстями автокара и повезли на мясо...

Лошади-доноры выдерживали в институте года три-четыре. Это была фабрика или, точнее сказать, прииск по добыче крови: ее точили из коней, как золото из земли, как сок из весенних берез. Когда конь начинал хиреть, его вот так ритуально убивали и сдавали на мясокомбинат. Аристарх Павлович жил рядом с конефермой, прекрасно знал, что там делают, но никогда не видел, как все это происходит. В тот же вечер ему стало плохо, а ночью случился инсульт. Чуть живого его наутро увезли на «скорой». Месяц он пролежал парализованным и немым, как чурка. А еще через месяц он постепенно отошел, восстановилось все, даже блеск в глазах, но был утрачен самый главный его дар – дар речи. Он словно забыл слова, за исключением единственного – тиимать!

Лошадей в институте покупали не по цыганскому способу: увидел – сторговал, и каких попало. В основном они поступали с крупных конезаводов и конноспортивных организаций. Все лошади были выбракованы по беговым качествам, но кровей они были чистых и знаменитых. Одна потянула сухожилие и после лечения уже не давала результатов, другая разбила лодыжку о барьер, третья просто ослабла на задние ноги, и основная масса – стареющие бое-

вые кони, уже отскакавшие свое на бегах и оставленные хозяевами. Их, как и людей, награждали призами, медалями, лентами, но, угодив в институт, они мгновенно лишались всего, в том числе и своей, может быть, когда-то известной клички: здесь им, как в концлагере, присваивали номер, который вымораживали жидким азотом на крупе; здесь они становились биологическим существом, способным вырабатывать кровь для изготовления вакцин, сывороток и прочих медицинских препаратов.

– Тиимать!..

Конюхами работали мужики из деревни, которая уже давно примкнула к городу и постепенно обстраивалась девятиэтажками. Шли они сюда не только чтобы быть возле привычного дела, а больше из практических, житейских соображений – заработать квартиру в городе. К лошадям они относились с крестьянской любовью, жалели их, морщились, когда следовало водить подопечных в донорский зал, но и забивали тоже с крестьянской любовью – отмутила скотинка... Однако каким-то неведомым образом среди мужиков-конюхов оказалась единственная женщина – Оля, девица лет двадцати двух, совершенно помешанная на лошадях. Ей было все равно где работать, только бы с конями. Говорили, что она в юности занималась конным спортом, и довольно успешно, но потом ипподром в городе закрыли, жокеев разогнали, спортсменов тоже, и Оля теперь зарабатывала возможность прокатиться верхом с вилами и лопатой в руках. Была она невысокой ростом, щуплой, плосковатой и невзрачной, большие очки не держались на переносице и вечно сползали на крылья маленького носа, отчего она слегка гнусавила. И какая там будет женская красота, если видели ее только в резиновых сапогах, шароварах да синем «обряжном» халате? Ко всему прочему Оля была молчаливой, какой-то сосредоточенно-грустной, и мужчины не воспринимали ее как женщину, а точнее, не замечали в ней женского начала. Полудеревенским, полугородским мужикам хотелось яркости, красок, резких тонов и контрастов, что они и находили среди ветеринарного персонала института. Однако при этом Олю конюхи уважали, ибо она знала о лошадях все. Придет новая партия коней в институт, и Оля почти безошибочно назовет, с какого конезавода привезли, а то и перечислит не только клички, но и всю родословную до седьмого колена. С иной лошадей, как с сестрой, встретится, обнимет за шею, приласкается:

– Астра, Астрочка... Вот ты какая...

Благодаря Оле конюхи звали лошадей по кличкам и как бы тем самым продляли их личностную жизнь, сглаживали великую несправедливость к заслугам и высокой породе обреченных на медленную смерть.

Говорливый Аристарх Павлович с первых же дней нашел общий язык с Олей, к тому же сбегал домой, принес самовар и свою чудную посуду – конечно, хотел удивить, но особенного восторга не услышал, зато получил расположение молодой конюшницы. И сразу понял, что она – чокнутая. Если до болезни весь полет фантазии у Аристарха Павловича достигал высот тайных встреч с Валентиной Ильинишной либо женитьбы на ней, то у Оли воображение оказалось вообще необузданное. Она мечтала тайно случить Астру – бывшую олимпийскую чемпионку – с Голденом – ахалтекинской породы жеребцом, тоже известным в мире, а жеребеночка взять себе, вырастить его, воспитать, обучить всем конским наукам (разумеется, тоже втайне), чтобы затем, скрывшись под маской, появляться на всех международных состязаниях, показывать высший класс и бесследно исчезать. По «племенным» расчетам сумасшедшей Оли, Астра и Голден должны были произвести на свет чудо из чудес.

Только за этим она и пришла работать в институт. Загвоздка была в одном: из Астры уже давно качали ее чистую кровь, а вот Голден хоть и был преклонных для коня лет, но все еще служил: на какой-то госконюшне из него качали семя, замораживали его в жидком азоте и хранили для будущего потомства от кобылиц, которые еще не родились на белый свет. Аристарху Павловичу, услышавшему такое, показалось, что мир людей и лошадей сошел с ума.

Случалось, что в институтских конюшнях рождались жеребята (случки происходили по недосмотру конюхов), но их тут же забивали, поскольку не жилцы они были: где уж там развиться нормальному плоду, когда из матери ежемесячно стравливают живительную, питающую кровь? И если даже родился нормальный, то правилами институтского общежития лошадей подобный акт не предусматривался, увы, кони здесь давали лишь кровь, но не потомство. Конюхи обычно жеребенка прятали, чтобы потом загнать за литр водки цыганам либо татарам на мясо.

И вот уже после инсульта, когда онемевший Аристарх Павлович вышел на работу, Оля сообщила ему, что Астри не просто жеребая, а на сносях и надо ждать со дня на день появления «чуда».

– Тиимать... – сказал на это Аристарх Павлович и больше ничего не сумел спросить. Но Оля сама рассказала, что Голдена еще не привезли в институт и что она тайно случила Астру с жеребцом по кличке Гром, в прошлом очень резвым скакуном буденновской породы, но повредившим себе крестцовый позвонок при падении. Сделала она это, чтобы проверить Астру – способна ли та нормально выносить плод, если последние четыре месяца вместо нее водить в донорский зал другую кобылу. Ветеринарши – полные дуры, им все равно, кого поставили в станок, хотя они обязаны следить, у кого и сколько взять крови.

Аристарх Павлович сходил с Олей в денник, где стояла эта самая Астри, и впервые на нее посмотрел. А была она действительно красавицей, несмотря на отвислое брюхо: высокая, темнокожая, с маленькой нервной головкой и невероятно тонкой кожей – все жилки на виду!

Когда же рано утром Астри ожеребилась, то и особых знаний не нужно было, чтобы определить, каков плод. Жеребенок сразу встал на ноги, прогулялся по деннику и сунулся матери под брюхо. А голос подавал звонкий, крепкий. Оля же его общупала, исследовала пасть, нос, уши, сердце послушала медицинской трубкой и вдруг радостно заявила:

– Аристарх Павлович! Я дарю вам жеребчика!

Аристарх Павлович сначала рот открыл: как это – дарю? А спросила, нужен ли такой подарок? Ведь это же не игрушка – живое существо, его поить-кормить надо, в каком-то помещении содержать.

– Тиимать!.. – вымолвил он и ничего не смог добавить.

– Забирайте скорее! – торопила Оля. – Конюхи придут – отнимут. А мне не хотелось бы, чтоб потомство Астры продавали за водку.

Конюшница точно была безумной и одержимой. Она производила эксперимент, совершенно не заботясь о будущем; ведь она бросала этого жеребчика, по сути, на произвол судьбы! И хорошо, что Аристарх Павлович в тот момент не умел говорить, а то бы все сказал, что думает по этому поводу. Жеребенка обернули мешковиной, чтобы не озяб (весна на дворе). Аристарх Павлович взял его на руки, как дитя, и понес домой.

– Молоко я буду сдаивать и приносить вам, – на ходу говорила Оля. – А вы обыкновенную соску на бутылку – и ему. Жеребчик жизнеспособный, проблем с питанием не будет. И кличку ему придумайте сами, но обязательно чтобы были буквы «А» и «Г». Агронавт, например, или Агат.

Пока нес к дому, еще сомневался и негодовал, но вот же чудеса: внес в квартиру, и стал этот жеребенок ему как свой сын, как человеческий детеныш. Когда же первый раз покормил из соски, и вовсе расчувствовался до слез. И стал ему имя придумывать. Фантазии было много, но язык не слушался, тут же еще заморочки с буквами.

– Ага! – сам того не ожидая, вымолвил он. – Тиимать!.. Ага!

Аристарх Павлович выделил маленькую комнату жеребчику, однако пришлось убрать оттуда всю мебель и до половины забить окно фанерой, поскольку Ага норовил выбить носом стекла. И к тому же на крашеном полу копытца жеребчика скользили – роговица еще была неж-

ная, мягкая, как молочный сахар, и Аристарх Павлович пожертвовал ему старинный, изрядно вышарканный персидский ковер.

С неделю о существовании в доме жеребенка никто не догадывался. Только сосед с первого этажа, Николай Николаевич Безручкин, встретил как-то во дворе и, шурясь хитровато, спросил:

– Ты что же, Палыч, женился и помалкиваешь... Хоть бы жену-то показал...

– Тиимать... – ответил Аристарх Павлович – мол-де с чего ты взял?

– Да как же, слышу – каблучки-то стучат. Не глухой, – приставал Безручкин. – По звуку слышно – молодую взял. Уж не Ильинишну ли высватал?

– Ага! – замахал руками Аристарх Павлович. – Ага, тии-мать!

Вот так и поговорили. А еще через неделю Аристарх Павлович смастерил из шелкового пояска покойной жены уздечку и вывел жеребчика на прогулку: в Дендрарии пошла первая травка на солнечных местах, Ага же, проявляя интерес к растительности, начал было щипать ворс старого ковра на полу.

И конечно же, повел жеребчика сначала в теплицу, женщин подивить. После болезни он бывал у них всего один раз и больше не заходил, потому что оскорбился: его стали жалеть, чем еще больше подчеркивали его теперешнюю ущербность и неполноценность. Вот уж сейчас точно, если доведется ходить на свидания с Валентиной Ильинишной, то встречи их действительно будут короткими, тайными и молчаливыми.

Аристарх Павлович ввел жеребчика в теплицу и сразил всех женщин в один миг. Этого они никак не ожидали, обступили, вытаращились, тянут руки:

– Это что? Что это, Аристарх Павлович?

И неожиданно для себя Аристарх Павлович ответил:

– Это же... ребенок! Ага!

– Ой! – еще больше изумились женщины. – Да ты и разговаривать начинаешь! Ну-к, повтори!

– Это же... ребенок, – повторил Аристарх Павлович. – Ага, тиимать!

– Что – ага?

– Ага! Ага!

– Ага – это имя жеребеночка, – догадалась вдруг Валентина Ильинишна. – А я думаю: что это девочка из конюшни к Аристарху Павловичу зачастила? Молочко приносит!

Ее догадливость приятно отозвалась в сердце Аристарха Павловича: если замечает, кто из женщин входит в дом, значит, не все и потеряно, значит, есть у Валентины Ильинишны интерес и что-то вроде ревности. С каким облегчением она сказала: «Молочко приносит!» Или только послышалось это облегчение?

Однако увлечение Аристарха Павловича теперь вынужденно пригасло, потому что он носился с жеребенком, как с ребенком. Ага подрос, и ежели уж напрудит лужу, а вовремя подтереть не успеешь, потекло к соседям, и не куда-нибудь – на кухонный потолок Николая Николаевича Безручкина. Ко всему прочему, половицы уже так напитались, что свежему человеку в квартире сразу било в нос.

Безручкин был человек хозяйственный, в скотине знающий толк, хотя держал только свиней. Работал он шофером в спецавтохозяйстве и, несмотря на все запреты и угрозы администрации Дендрария, заезжал домой на своей мусорке, чтобы выгрузить в чаны пищевые отходы и пустые бутылки. Это был его главный заработок: бутылки он мыл в озере, ставил в ящики и сдавал, а отходами выкармливал до десятка свиней. А свиначник себе оборудовал из сарая, тоже несмотря на запреты, – тогда еще была политика Продовольственной программы, и Безручкина голой рукой взять было нельзя. Он успел узаконить фермерское хозяйство и теперь вообще был неуязвим. Летом жильцов дома в Дендрарии одолевали мухи и круглый год – огромные рыжие крысы, которые столовались возле свиней. Аристарх Павлович относился к

соседу терпимо из-за терпимости своего характера, но все остальные жильцы вели с Безручкиным гражданскую войну. Николай Николаевич в ответ на терпимость Аристарха Павловича тоже проявлял сдержанность, хотя посчитал соседа дилетантом в сельском хозяйстве, а затею с жеребенком – глупостью. Но когда с потолка ему закапало в щи, он зашел к Аристарху Павловичу и сказал:

– Закрывай конюшню, Палыч. Или давай меняться квартирами.

Поменяться жильем с Аристархом Павловичем он намеревался давно. И деньги предлагал, и свининки, и даже пытался свести его со своей двоюродной сестрой – женщиной странноватой, кажется, какой-то сектанткой, чтобы породниться и совершить родственный обмен. Дело в том, что квартира Николая Николаевича хоть и была однокомнатной, но большой, да с некоторых пор имела для него неудобное соседство – бабушку Полину – девяностолетнюю старуху, давно прикованную к постели. Когда-то Безручкин был доволен таким соседством, намереваясь после смерти прикупить две старухины комнаты, обставленные дорожкой старинной мебелью красного дерева. Но бабушка Полина все жила и жила, пока у нее не объявились законные наследники – подполковник Ерашов с братьями. Этот подполковник, оказывается, был внуком полковника Ерашова – последнего владельца всего имения, куда входили и дом, и Дендрарий, и все прилегающие земли. Так вот этот Ерашов три года назад променял свою квартиру в Питере аж на шесть комнат в родовом доме. Три счастливые семьи уехали в Ленинград, втайне опасаясь, что подполковник опомнится, передумает и прервется чудный сон. Но Ерашов не передумал, а вскрыл давно запечатанную дверь из своих комнат в квартиру бабушки Полины, которая доводилась ему родственницей по отцовской линии, нанял домработницу, а сам укатил дослуживать. Теперь без малого полдома принадлежало Ерашовым, ибо бабушка Полина немедленно завещала все имущество вновь обретенной родне. Безручкин пытался сопротивляться – все-таки несколько лет всей семьей ухаживал за старухой – и требовал свой пай мебелью, однако подполковник оказался афганцем, мужиком крутым, а соседи-наушники тут же напели ему, что Николай Николаевич морил бабушку Полину голодом, чтоб скорее прибралась, и бывшие жильцы, уехавшие в Питер, от радости такого наворотили на Безручкина, что Ерашов, застав его во дворе, вроде бы интеллигентно, да как-то дерзко предупредил:

– Живите пока... Но очень прошу вас, не попадайтесь мне на глаза. Пожалуйста.

Николай Николаевич всяких орлов видывал и тут бы не сробел, однако смутили непривычный тон и лицо подполковника, наполовину обгоревшее, пятнистое и стянутое к шее. Говорили потом, что он дважды горел в вертолете и вот поехал догорать в третий раз. И пока его не было, Безручкин хотел взять реванш. Обмен с Аристархом Павловичем открыл бы ему дорогу постепенно занять весь второй этаж дома: за стеной бывшего лесника жил старик Слепнев – пьяница, добывающий себе на вино ловлей птиц, за ним – старая дева Таисья Васильевна, горбунья-библиотекарша, которая жила где-то в городе у сестры, и угловую квартиру занимали на вид приличные муж и жена, однако неожиданно угодившие в тюрьму по редкостной статье – за оставление в опасности. Надежды, что Ерашов в третий раз обязательно сгорит не в Афганистане, так в Армении или Азербайджане, у Безручкина были, да толку-то, если у него еще три брата и сестра? Поэтому следовало обосноваться на втором этаже и постепенно расширять плацдарм. К тому же Аристарх Павлович, превратив квартиру в конюшню, дал очень хороший повод требовать обмена. Надо было только хорошо наехать на него, соблюдая при этом чувство меры. Терпеливый и податливый, Аристарх Павлович, если выходил из себя, становился твердо-костяным и даже буйным. Правда, теперь, после инсульта, все изменилось, и его немота была на руку.

– Давай меняться, Палыч, – сдержанно предложил Безручкин. – На первый этаж коня вводить удобней. И соседями будут Ерашovy, так сказать, твои бывшие хозяева. Дед-то твой у них служил? Служил...

Аристарх Павлович осмотрелся – родные стены, родился и вырос тут, отсюда родителей схоронил, жену, здесь двух дочерей вырастил...

– Тиимать... – промолвил он с выражением отрицания.

Взять бы жеребенка и на самом деле вывести из квартиры, поставить в сарай, да четыре года назад все сараи погорели, так что лопату теперь некуда спрятать. В пожаре был виноград пасынок Безручкина по прозвищу Шило, в общем-то неплохой паренек. Обиделся он на отчима и запалил его свинарник, ну а заодно полыхнули все сараи. А были они в прошлом каретные, рубленые, на фундаментах кирпичных. Николай Николаевич свой восстановил, да еще и расширился за счет отсутствующих соседей, а больше никто строить не отважился, впрочем, и нужды не было: отопление к тому времени было уже центральное, от конюшен института, заготавливать и хранить дрова не нужно.

– Я тебе сарай построю, за свой счет, – набавлял цену Безручкин, угадывая мысли. – И мы полюбовно разойдемся.

Сарай можно было бы и самому построить – дощатую временку сколотить в три дня, утеплить, и вот тебе стойло для Ага. Аристарх Павлович так бы и сделал, если бы дом Ерашовых не значился памятником архитектуры начала прошлого века: тут гвоздя лишнего не вобьешь. Поэтому сарай требовалось восстанавливать только по старым чертежам и из круглого леса. При таких же ценах и бывшему леснику-то не по карману купить, хотя ему льготы положены.

Между тем Николай Николаевич выбросил последний козырь и словно в грязь втоптал Аристарха Павловича:

– Соглашайся, Палыч. Положение у тебя серьезное... Жеребенок-то у тебя ворованный и сенцо ворованное. Начнут копать – все отнимут и вдобавок честное имя ославят.

С тем и удалился. Аристарх Павлович представил себе, как уводят Ага, милиция составляет протокол или вообще дело возбуждает. Олю как соучастницу выгонят с работы, его, разумеется, тоже. Ничего себе сторож!.. А что могут сделать с полугодовалым жеребчиком? Поставят в денник и станут качать кровь. Выкачают, прирежут – и на колбасу...

– Тиимать! – утрастился он, ощущая, как слабеют поджилки и голова становится пустой и звонкой, как бубен.

И навалилось на него ощущение горя, тяжелого, порой, кажется, осязаемого, словно черная лохматая туча. Обнимет Ага, приласкает, сам к нему приласкается, и еще горше становится. Побродил по дому, посовался в углы и вдруг взорвался гневом. Схватил ременный повод и давай хлестать Ага. Жеребенок шарахнулся от него, заплясал по комнате, ударяясь о стены, Аристарх же Павлович окончательно разъярился, размахался, и все мимо, мимо. Наконец швырнул повод, заплакал в отчаянии и ушел на улицу. Там умылся снегом, дух перевел и побрел к теплице Дендрария, но издалека заметил – пусто там, горит ночной дежурный свет да сквозь изморозь светится блеклая зимняя зелень. И нигде ему не было утешения в тот вечер – ни на детской горке среди девятиэтажек, вплотную подступивших к Дендрарию, ни возле Колокольного дуба, закованного в бетон выше человеческого роста, ни в заснеженной беседке возле Купальни. Домой Аристарх Павлович вернулся поздно, включил свет и неожиданно испугался, что жеребенка в доме может не быть! Обиделся и убежал!.. Не раздеваясь, он бросился в комнату Ага и потом рассмеялся над собой: куда же ему бежать и как, если квартира заперта на ключ? Жеребенок кинулся к Аристарху Павловичу, ткнулся лбом в грудь и стал бережно собирать бархатистыми губами налипший на пальто снег...

Этой же зимой, после Нового года, Аристарх Павлович и Ага отмечали новоселье. Безручкин не обманул, сарай выстроил по старым чертежам, добротный, под железной крышей и с двойной рамой в маленьком окошке. Теперь можно было и сена запасти на чердаке, и безбоязненно содержать жеребенка всю зиму. Квартирами же поменялись буквально в три дня,

причем Николай Николаевич все расходы по оформлению взял на себя, кроме того, вынес из своей квартиры вещи, сделал ремонт, и Аристарх Павлович въезжал без всяких хлопот. Конечно, он проиграл с этим обменом две комнаты: квартира Безручкиных состояла из одной огромной комнаты, в которой были выгорожены ванна, туалет и кухонька. Когда-то это была гостиная дома Ерашовых. Однако спустя пару дней Аристарх Павлович начал успокаиваться тем, что все-таки кое-что выиграл: во-первых, входил он теперь в дом не через черный ход, откуда вела лестница наверх, а через парадный. Правда, от парадного подъезда мало что сохранилось – крытая ротонда была утрачена еще до войны, каменные резные балясины исчезли после ремонта в шестидесятые, но сохранились белокаменные ступени и площадка красного крыльца. И вторым преимуществом новой квартиры был камин, выложенный узорным кафелем. Пожалуй, это была главная ценность всего дома, и Николай Николаевич просто раньше не мог понять, в какой квартире живет. Когда же Аристарх Павлович разобрал замурованный зев камина и обнаружил за кирпичной кладкой великолепного литья чугунную решетку, то и вовсе обрадовался. Комната оживила вместе с новым хозяином. Аристарх Павлович начистил все медные детальки камина – затворы, вьюшки, дверцы, отдушники, протер подсолнечным маслом решетку и захотел немедленно его затопить. Поджег старую газету, сунул в камин, однако дым и пламя потянуло в комнату. Вьюшка была открыта, и насколько Аристарх Павлович разбирался в печах, тяга была, причем даже руку холодило в потоке воздуха. Он подвигал ручки затворов, неизвестно с какой целью существующих, однако кроме потока пыли и старой сажи, потекшего из недр камина, ничего не произошло. Выше вьюшки тяга была, она была и в каминном зеве, но отчего-то не забирала дым. Аристарх Павлович еще раз осмотрел камин изнутри – кажется, даже небо увидел в трубе, исследовал его снаружи и вдруг заметил какой-то рычаг у самого пола, тоже медный, но покрашенный половой краской. От руки этот рычаг не поворачивался – что-то приржавело, заклинило внутри, и тогда Аристарх Павлович подцепил его ломиком. Рычаг вроде бы пошел, но вдруг внутри хрустнуло, сломалось, и рукоятка с шишаком отвалилась, выпав из гнезда. Потом Аристарх Павлович разобрался, что этим рычагом перекрывалась еще одна заслонка, которая регулировала, по всей вероятности, поток воздуха в поддувале. Он отвел ее ломиком, и тяга появилась такая, что подожженная газета улетела в трубу. Аристарх Павлович принес дров, затопил камин и выключил свет...

Через несколько минут необжитая, непривычная квартира вдруг стала родной. До чего же хорошо было сидеть возле огня, слушать треск и гул пламени, греть руки, лицо – вот чего ему не хватало! Он тут же решил, что, несмотря на центральное отопление, теперь каждый день будет топить камин и проводить возле него зимние вечера. А воображение ему тут же нарисовало, как однажды на огонек к нему войдет Валентина Ильинишна – озябшая на ветру, и он ее встретит, поможет снять пальто и усадит к камину. Они станут просто сидеть и молчать, глядя в огонь, и свидание это будет наконец долгим, может, бесконечным...

Ночью он проснулся от холода, в квартире выстыло так, что изо рта шел пар. Аристарх Павлович вскочил, проверил форточки – заперты, двери тоже на замке, и отопление не отключали: батареи исходили жаром. И тогда он сообразил, что камин – этот монстр, разинув пасть, вытягивал тепло. Наверное, не зря все прошлые хозяева этой квартиры не нарушали замуровки. Аристарх Павлович завесил его старым одеялом, но поток воздуха был настолько мощным, что занавесь постепенно втянулась в каминный зев. Он закрыл вьюшку раньше, когда протопился камин, и теперь было непонятно, по каким дымоходам уплывает из комнаты теплый воздух. Для пробы он снова бросил горящую газету в топку, и оказалось, что тяга есть даже при закрытой вьюшке. Он снова подвигал ручки многочисленных заслонок и, не добившись ничего, закрыл ломиком заслонку поддувала. Камин слегка успокоился, шорох ветра в его чреве утих, и остановился бег сквозняка по полу.

Наутро Аристарх Павлович взялся ремонтировать отломленный рычаг заслонки: уж слишком неудобно всякий раз нырять с головой в каминное нутро и там, в саже и копоты,

ковырять ломиком заслонку. У рычага отломился крючок, на котором держалась тяга, регулирующая заслонку, и согнулась перержавевшая ось. Надо было вынуть корпус регулятора, но для этого следовало снять два нижних кафельных блока. При последнем ремонте паркетные полы в квартире застелили обыкновенной шпунтованной доской, и поэтому камин как бы врос в пол. Аристарх Павлович оторвал плинтус, скovyрнул крайнюю доску, однако кафель все равно оказывался зажатым паркетными торцами. Тогда он вывернул несколько паркетин, освободил кафель и стал раскачивать блок под рычагом. Весь кафель на камине был посажен на известковый раствор, но нижний блок, полосатый от грязи и краски, стоял «всухую». Аристарх Павлович довольно быстро вынул его, залез рукой в нишу, чтобы ощупать крепление корпуса рычага, и вдруг пальцы наткнулись на железную коробку. Машинально, без всяких мыслей и чувств, он извлек эту коробку, сдул пыль и, еще не открыв ее, понял, что нашел клад.

– Тиимать... – пропел он, взвешивая в руках коробку из-под леденцов «Монпансье» в зелено-желтых узорах и рекламных медальонах. По весу чувствовалось, клад богатый. Он отнес находку на стол, вымыл руки и с помощью ножа сдернул крышку.

Сверху лежала плотная скрутка каких-то желтых бумаг, а под ними оказался огромный и красивый пистолет «кольт-автоматик», совершенно новенький, вороненый, как будто вчера вложенный. В пистолетах Аристарх Павлович разбирался плохо, но, как всякий охотник, оружие любил. Он достал из рукоятки пустую обойму, попробовал взвести курок и, разобравшись с предохранителем, пощелкал, прицеливался в углы и сразу решил, что никогда и ни за что не отдаст никому этого пистолета. Даже если придут с милицией. Он так ладно лежал в руке, так впечатляюще смотрел своим единственным черным глазом, что в душе Аристарха Павловича возникли полузабытый ребячий азарт и воинственная страсть. Очарованный оружием, он порылся в коробке и нашел небольшую упаковку с патронами, слегка потемневшими от времени, и хотел было уже зарядить их в магазин, но вдруг осознал, в чем рылся: наполовину коробка была заполнена царскими орденами. Да какими орденами! Серебряные, золотые, с камушками, в виде крестов, ромбов и восьмиконечных звезд. Аристарх Павлович забыл о пистолете – раскладывал их в ряды на столе. Каждый орден был завернут либо в платочек с кружевами, либо в кусочек темного, уже задубевшего бархата. С замиранием сердца он снимал обертку и восклицал:

– Тиимать!

Всего их оказалось сорок семь. В царских орденах он вообще не разбирался, потому что видеть не доводилось, однако сразу выделил самый высокий, царский, в виде восьмиконечной звезды, усыпанной бриллиантами, – едва на ладони помещался, и два золотых ромба. И вдруг ему стало смешно! Если бы только Николай Николаевич знал, какие сокровища лежали у него, можно сказать, под ногами! Если бы он вздумал затопить камин!.. Ему захотелось немедленно пойти к Николаю Николаевичу и показать клад – пусть подивится! Однако он вспомнил, что еще утро и Безручкин сейчас на работе, собирает мусорные баки по городу, а его жена, Галина Семеновна, торгует в своем магазинчике возле рынка. Аристарх Павлович от нетерпения походил по комнате, распираемый жаждой показать кому-нибудь свои сокровища, и только тут обратил внимание на бумаги. Плотный свиток состоял из каких-то невиданных жалованных и дарственных грамот, написанных неразборчиво, но внушительно, и все они принадлежали Ерашовым. Это значило, что и ордена, и пистолет тоже ерашовские. Знакомая фамилия как-то сразу убавила восторженного пыла у Аристарха Павловича. Его отец обычно говаривал в таких случаях: «Не тобой положено – не тобой возьмется». А что, если Алексей Владимирович Ерашов знает о существовании клада? Наверняка знает, от отца к сыну передали! Мол, появится возможность, достаньте из камина клад – реликвии семейные. Тут ведь нет ни денег, ни украшений, что обычно находят в кладах, а ордена да бумаги. И пистолет наверняка подаренный, хотя надписей таких нет, а только английские, заводские...

Аристарх Павлович спрятал ордена и бумаги в коробку, хотел уж положить и кольт, но неожиданно поймал себя на дерзкой мысли – не отдам пистолета! Утаю, украду, оставлю себе! Уж больно приятная игрушка, и рука не поворачивается вернуть ее на прежнее место. Он временно поставил коробку с орденами в железный шкаф, где хранились охотничьи ружья, кольт же сунул под подушку и принялся за ремонт заслонки. К обеду он исправил опору рычага, вкрутив новые болты, закрепил тягу, жирно смазал механизм солидолом, разработал его и положил коробку в нишу: кольт столько лет пролежала здесь целехонькой, то пусть и долеживает, лучше места не отыскать. Он вставил обратно кафельный блок, прижал его паркетинами, затем половой доской и плинтусом: незнающему человеку ни в жизнь не догадаться, что здесь может находиться клад с сокровищами!

Потом он до самого вечера осваивал пистолет, а попросту играл с ним – набивал патронами магазин, загонял их в патронник, ставил на предохранитель: кольт работал как часики. Очень уж хотелось выстрелить, проверить, не слежались ли патроны за столько лет, однако стрелять в квартире он не отважился из-за слишком уж большого калибра – грохоту будет! – и решил завтра же сходить в лес за озеро. И пока играл, в воображении рисовал картины, как он идет однажды по городу и видит – хулиганы с ножами прижали к стене какую-то женщину, рвут сумочку из ее рук, сдирают золотую цепочку, и Аристарх Павлович выхватывает кольт и палит над хулиганскими головами, а потом в землю, возле их ног. При виде такого оборота и, главное, внушительного «ствола» грабители удирают в панике, а он подходит к женщине и... узнает Валентину Ильинишну.

И они бы потом пришли домой к Аристарху Павловичу, затопили камин и, сидя у огня, попивали бы коньяк из бокалов старинного резного стекла...

Вечером Аристарх Павлович решил сходить в гости к соседям за стенку – к бабушке Полине и ерашовской сиделке-домработнице Надежде Александровне. Ей было под шестьдесят, но всю жизнь проработав сельским фельдшером, она осталась подвижной, стремительной и вездесущей, за что старик Слепнев дал ей прозвище Вертолет. Кроме хлопот с бабушкой Полиной и работы в огромной квартире Ерашовых, она еще посменно сторожила теплицу Дендрария, дворничала в детском саду и стирала скатерти и салфетки для какого-то ресторана. Дверь к соседям, выходящая из кухни Аристарха Павловича, была накрепко заколочена и заклеена обоями, поэтому он отправился кружным путем, через черный ход. До болезни он заходил сюда частенько, однако после инсульта стало ни поговорить, ни поспрашивать бабушку Полину о старом житье, и ко всему прочему здесь его тоже начинали жалеть.

Соседи смотрели телевизор. Дело в том, что бабушка Полина при жизни под присмотром сначала старшего брата Безручкина, а потом и Николая Николаевича никогда не видела телевизора. Обезножела она еще в пятидесятых и, оказавшись на чужих руках, безропотно жила по чужой воле, ничего не просила, вечно стесняясь себя как обузы. И когда отыскиались наследники, когда появилась кровная родня, бабушка Полина преобразилась и стала даже слегка властной. Первым делом она велела вынести себя из комнаты, где пролежала более тридцати лет, и поселить в другой, почему-то облюбованной угловой комнате с окнами в две стороны – на парк и на озеро.

– Вот здесь я буду умирать, – сказала она. – Может, и умру скорее.

Впервые увидев кино по телевизору, бабушка Полина влюбилась в чудесный ящик, и включенный утром, он выключался лишь после того, как она засыпала. Она словно наверстывала упущенные за десятилетия знания о жизни, ибо паралич остановил не только ноги, а парализовал и время; бабушка Полина жила памятью сталинского периода. Глядя на экран, она, естественно, никого не узнавала и требовала разъяснений от своей сиделки Надежды Александровны.

– Это кто такой? А этот почему такой гневный? А почему этого все так любят? Ведь он же злой и неприятный человек?.. А почему вот этот на всех кричит и никто не возмущается?

И почему все возмущаются, когда говорит вон тот? Ведь он же правильно говорит и человек очень порядочный.

Увидев Аристарха Павловича, бабушка Полина велела убавить звук телевизора, что означало особое ее внимание к гостю. И, не дав ему сесть, начала распекать незадачливого соседа:

– Аристарх! Ты зачем поменял квартиру? Ты сделал великую глупость, голубчик. Как ты мог отдать такие комнаты за гостиную? У тебя ведь какие потолки-то, какая лепнина! Я же помню!.. Он что, денег тебе дал, доплатил? Или только за сарай?

Аристарху Павловичу так захотелось рассказать о кладе – ей-то можно! Она по фамилии хоть и не Ерашова, но их корня и рода, уж она-то не выдаст...

– Ага! – сказал Аристарх Павлович. – Жеребенок.

– Ага, ага, – передразнила бабушка Полина. – Обманул он тебя! В гостиной всегда было холодно, не натопишь. Там потолки – четыре метра... Ты, Аристарх, не дури, возвращай-ка свои комнаты. А конюшню тебе Алеша построит. Вот приедет весной насовсем и построит. Я ему скажу... Ты ведь околеешь там! Печи-то сломали, и подтопить невозможно.

Аристарх Павлович быстро и радостно написал: «Я камин топлю!» Бабушка Полина прочитала и не поверила.

– Не топится камин, уж лет пятьдесят как замурованный стоит. Там дымоход обвалился, я-то помню... Неужели наладил?

Он закивал головой и написал: «Заслонка была закрыта, нижняя».

– А мне печник сказал, дымоход обрушился, – сказала бабушка Полина. – Уж печник-то знает толк... – и вдруг догадалась: – Ах, ты его напрямую сделал! Ну, братец, тогда снова замуровывай. Напрямую его делать нельзя, он же с дымоходами, с обогревателями. А напрямую камином только гостиную проветривали, когда народ собирался. Если затопишь – и дрова в трубу полетят. Не летели еще? Вот чудак-человек, и камина топить не умеет... Послушай совета, Аристарх, я тебе дурного не скажу: возвращай комнаты, в суд подай. Безручкин человек хитрый, а ты на его удочку попался. Дочери твои приедут летом – что скажут? И жить станете коммуной, в одной комнате?..

Слушая ее, Аристарх Павлович понял, что бабушка Полина ничего о кладе не знает. Иначе бы как-то заинтересовалась, выдала себя. А если бы узнала, небось бы обрадовалась, что Аристарх-то Павлович хитрее Безручкина оказался, поскольку сокровища в коробке стоили наверняка больше, чем весь дом. В предчувствии того, что у него теперь есть возможность подивить кладом и бабушку Полину, и Алексея Владимировича, и вообще все семейство Ерашовых, Аристарх Павлович развеселился и неожиданно брякнул:

– Тиимать!

Это бабушке Полине не понравилось.

– Он еще и смеется! И ругается!.. Постеснялся бы при женщинах, недотепа ты... Ох, беда... Ведь молодой еще, а разумом уж плохой стал. Я же тебя ребенком помню, дурень ты, дурень.

Аристарх Павлович только улыбался в ответ на ворчание старухи. Бабушка Полина до паралича всю жизнь либо работала библиотечарем, либо сидела в тюрьме. Одним словом, всегда находилась в заточении, ибо библиотека, по разумению Аристарха Павловича, тоже чем-то напоминала добровольную камеру, куда она засадила еще и Татьяну Васильевну, горбунью, верхнюю соседку. И та тоже всю жизнь отсидела среди книг, и возможно, не из-за горба своего, а из-за книжной тюрьмы не вышла замуж, как и бабушка Полина. Эти две затворницы были очень похожи друг на друга, и семидесятилетний Слепнев говорил, что до войны они были писанные красавицы, особенно бабушка Полина, но обе совершенно непрístupные из-за своей грамотности.

Аристарх Павлович наслушался ворчания бабушки Полины, попил чаю, посмотрел по телевизору очередной раунд съездовской борьбы и собрался домой. И только тут бабушка

Полина вдруг предложила вновь открыть дверь, соединяющую их квартиры. Мол-де совершил глупость, так хоть в одном будет польза – Надежда Александровна сможет приходить и прибираться, а то когда и приготовить обед, постирает... Намек на сватовство был такой явный, что Аристарх Павлович рассмеялся, но не произнес свое привычное слово. Он пообещал, что завтра обязательно вскроет дверь: по крайней мере клад всегда будет под надзором всевидящего Вертолета. Уж она-то никому не позволит проникнуть в квартиру, особенно когда Аристарх Павлович на суточном дежурстве.

На следующий день он взялся было сдирать обои с забитой двери, но явилась Оля. Она почему-то была в радостном настроении и стала с любопытством рассматривать новую квартиру Аристарха Павловича. Камин ее поразил – сразу видно человека, который умеет ценить настоящие вещи! Она сама затопила его, села к огню и как-то враз похорошела.

– Я уже конюшню твою, Аристарх Павлович, посмотрела! – вдруг сообщила она. – Отличный денник! Теперь не будет проблем, куда поставить моего жеребенка. Мы сделаем дощатую перегородку, только твоему Ага поменьше, а моему побольше, правильно?

Конюшице было трудно возражать, и поэтому Аристарх Павлович молчал: разумеется, для ее чуда природы, для ее будущего коня-победителя места следовало отвести побольше...

– Я еду к Голдену! – выдала она. – За семенем!

Последний огромный гвоздь вылез из косяка, и дверь к соседям открылась сама собой, одна ее рабочая створка.

– Тиимать! – проговорил Аристарх Павлович.

– Я узнала, что Голдена никогда не привезут в институт. Поэтому придется добыть семя и сделать Астре искусственное осеменение.

Возле камина конюшица действительно словно расцвела, и тем неестественнее звучали эти слова из ее уст. Аристарх Павлович выглянул из кухни и замер с гвоздодером в руках. Мощный поток воздуха тянул в трубу не только дым и пламя, но подхватывал волосы Оли и край ее подола; руки же она протягивала сама, и создавалось ощущение, что конюшица намеревается вылететь в трубу. «Ведьма! – подумал он, разглядывая ее остроносенький профиль. – Или кикимора...»

– А ты знаешь, как получают семя? – спросила она и, не заботясь о том, желает ли он знать, принялась объяснять все технологические тонкости и детали. Аристарх Павлович только крякал и мотал головой и пытался сообразить, зачем она все это рассказывает?

– Мне потребуется тысяч двести – триста, – вдруг призналась Оля. – Если не удастся проникнуть в денник Голдена и отобрать семя, придется купить его. Ты должен выручить, Аристарх Павлович.

Он наконец сообразил, зачем пришла конюшица, и написал, что денег у него нет и едва ли дотянет до получки – пришлось выписать в институте сено.

– Продай что-нибудь, – тут же нашлась Оля. – Или дай мне, я продам. У тебя есть такая красивая посуда... Помнишь, чай пили? Вот же, в шкафу!

Аристарх Павлович в этот миг ощутил, будто на него как-то незаметно надели узду, подседлали и теперь лишь затягивали подпруги да взнуздывали, чтобы поехать. Он растерянно медлил, а конюшица тем временем по-хозяйски открыла горку, вынула старинную вазу-варенницу в серебряной оправе и стопочку таких же розеток.

– В комиссионке триста дадут, – определила она. – Если деньги не потребуются, я тебе их верну.

«Посуда не моя», – торопливо написал Аристарх Павлович и заматал головой, мол, нельзя, но Оля ничуть не смутилась.

– Брось ты эти свои заморочки, Аристарх Павлович. – Она положила драгоценную посуду в свою сумку. – Все принадлежит тебе. И пусть проклятые буржуи ртов не разевают. Здесь все твое! Запомни, я тебя в обиду не дам!

Она быстренько накинула пальтишко, махнула рукой и убежала. Аристарх Павлович стоял как пригвожденный. Ярость еще не успела накопиться, чтобы взорвать его изнутри и сбросить растерянность и оцепенение. Поэтому он пока еще соображал, что же сделать, чтобы вернуть посуду, какие слова сказать или написать, чтобы Оля поняла и не покушалась на драгоценности. И когда наконец буйный протест вызрел – было поздно: конюшни и след простыл. Он в сердцах ударил гвоздодером об пол:

– Тиимать!!

На грохот из вскрытой двери к Ерашовым выглянула Надежда Александровна и, видимо, заметила состояние соседа, однако вежливо шаркнула:

– Простите... Меня не звали?

– Не звал! – вдруг рявкнул Аристарх Павлович, не соображая, что сказал еще одно слово. Соседка притворила дверь. Аристарх же Павлович сорвал полушубок с вешалки, шапку, выбежал на красное крыльцо и тут вспомнил, что собирался утром сходить в лес за озеро опробовать пистолет. Он вернулся, достал из-под подушки кольт, сунул в карман и гневным шагом направился напрямик через озеро, утопая в глубоком снегу. Всю дорогу он поддразнивал себя, вспоминая нерешительность, и ругался. Спина взмокла, пока он добрался до мелколесья, лодыжки ног ломило от снега, набившегося в сапоги. В зимнем сосновом бору было тихо, и в другой бы раз Аристарх Павлович обрадовался лесному покою, но сейчас он раздражал. Для пущей безопасности следовало бы уйти подальше от озера, однако внутреннее нетерпение и клубившаяся в голове ярость пригасили осторожность. Он достал кольт, загнал патрон в патронник и не раздумывая спустил курок, целя в сосну. Неожиданный грохот оглушил его, зазвенело в правом ухе, и с деревьев посыпался снег. Аристарх Павлович, словно всю жизнь только и делал, что палил из пистолета по соснам, еще трижды нажал на спуск. Кольт грохотал, как хорошая двустволка. Стрельба не то что успокоила его, а как бы удовлетворила страсть и внутреннюю потребность выметать ярость...

Не заходя в дом, Аристарх Павлович завернул в свою конюшню, отомкнул дверь и, запершись изнутри, долго играл с жеребенком. Ага сильно подрос и теперь менял окраску – из ребячьи-рыжего превращался в буланого. Золотистая шерсть пробивалась на спине и крупе, широкие ее полосы, как весенние проталины, тянулись к тонким ногам и сгоняли детство. Аристарх Павлович по привычке послушал сердце жеребенка, потрепал его за челку и уже довольный отправился домой.

И уж было как-то не жаль вазы в серебряной оправе, и забота конюшницы теперь казалась не такой уж сумасбродной; он словно наплакался, и с последними слезами забылись последние обиды...

## 2

Младший Ерашов, Кирилл, приехал ранним утром в первый день лета. В Дендрарий таксист въезжать отказался, хотя ворота на ночь не запирались: в арочном своде вместо вывески висел дорожный знак – «кирпич». С чемоданом в руке Кирилл отправился искать свой дом, хотя из писем Алеши уже имел представление, что это за дом, как стоит, где и как выглядит. Он и в городе-то этом ни разу не был и потому ехал, как в гости, причем к чужим людям, по незнакомому и странному адресу – Дендрарий, дом № 1. Сколько ни спрашивал на вокзале, никто толком не мог сказать, где такая улица, но все объясняли, где сам Дендрарий, – место было известное.

За воротами сразу же начиналась мощная дубовая роща, и сомкнутые над головой кроны не пропускали солнца. Асфальтовая дорожка была темной, влажной и уходила куда-то в сизоватый полумрак, но за черными стволами огромных деревьев кое-где пробивались пыльные яркие лучи, и в этих лучах порхали и гомонили мелкие птицы. Полное безлюдье, сумрак и тишина настораживали, хотелось ступать тише, с оглядкой; непривычный мир древнего леса, замшелые от корней исполинские стволы и черная, без травы, земля вызывали легкий детский испуг, какой бывает от черной грозовой тучи, медленно застилающей ясное небо. В двадцать один год ему еще не думалось о времени и вечности, и он, неискушенный подобными размышлениями, еще умеющий пугаться детских страхов, вдруг почувствовал неведомый ему толчок, подобный ударной волне от близкого разрыва, когда неподвижный воздух неожиданно бьет в лицо, уши и глаза. Его поразила простая мысль о вечности этих медных, замшелых деревьев. Ничего еще не было на земле – ни Кирилла, ни дома, ни города, а дубы уже стояли тут! Сколько же всего пронеслось вокруг них? Сколько столетий минуло?! Но они, нетленные, живут до сих пор, и не как камни живут – с корнями, с листьями, со свежими побегами, потому что все еще *растут*! Он, Кирилл, умрет, и все умрет с ним – чувства, сознание, способность мыслить, но эти старые деревья останутся! И будут жить как ни в чем не бывало, и будут по-прежнему расти, потому что для них ничего не изменится...

Он оставил чемодан и вернулся в дубраву. Поковырял землю под корнями, попробовал измерить толщину деревьев обхватами – получалось по три, а то и четыре, но это ничего не давало. Когда он стоял рядом с дубами, трогал их, срывал мелкий жесткий мох, ощущение вечности пропадало. Он побродил среди этих черных колонн, попинал прошлогодние желуди, которые успели уже врасти в землю, но не дали побегов, и поразившая его мысль как-то сама собой утихла, успокоилась, и сиюминутность жизни не так уж будоражила воображение. Кирилл направился было к чемодану в липовой аллее и тут увидел коня, вернее, большого жеребенка – тонконового, поджарого, с маленькой головкой. Жеребенок обнюхал чемодан, отфыркался и стал играть с ним – нападать, шаркая копытом асфальт.

– Эй! Эй! – крикнул Кирилл.

Жеребенок отпрянул к липам и вскинул голову, сторожко рассматривая человека. Кирилл протянул ему руку, подзывая будто бы хлебом, но молодой конек, видимо, был уже учен и даже не шевельнулся. Тогда Кирилл открыл чемодан, достал раскрошенное в пакете печенье, набрал горсть и двинулся к жеребенку. Тот шевелил ноздрями, нюхал, однако и с печеньем не подпустил к себе – отскочил под другое дерево.

– На, дурачок! – подступал Кирилл. – Бери, не бойся...

Конек отскочил на другую сторону аллеи, словно предлагая игру. Но Кирилл высыпал печенье на асфальт и отошел.

– Ну ешь! Чего же ты?

Жеребенок приблизился, понюхал подачку, однако не тронул. Воробыи тут же слетели с деревьев и принялись за корм.

– Балбес ты, понял? – сказал Кирилл и полез в чемодан. Оставался где-то пайковый сахар-рафинад. Уж перед сахаром-то никто не устоит... И верно, жеребенок насторожился, позволил подойти на расстояние вытянутой руки и уже губы трубочкой сложил, чтобы взять с ладони кусочек, но в последний миг мотнул головой и отвернулся от соблазна.

– Бери! – манил Кирилл. – Вот чудак! Ты что, и сахар не ешь?

– Ага! – вдруг послышался голос откуда-то из-за спины. Кирилл обернулся, застигнутый врасплох, а жеребенок, овеяв ветром, поскакал по аллее. Из-за дерева вышел человек в спортивной майке и зеленых трусах. Конек виновато стал перед ним и опустил голову.

– Тиимать! – выругался человек и слегка хлестнул жеребенка по крупу тряпичной уздой. Потом они побежали: человек по асфальту, а конек – обочиной, по земле. Конек при этом дурачился, подбрасывая ноги, иногда перебегал аллею, а человек бежал ровно и неторопко, той самой рысью, которой убегают от инфаркта. Кирилл взял чемодан и пошел за ними следом, но скоро аллея кончилась. Человек с жеребенком куда-то свернули и пропали среди леса. Тогда он пошел напрямую, на ходу отмечая, что деревья в этой части Дендрария моложе и все перемешано – ясень, клен, липа, пирамидальные тополя, кустистые ивы и еще какие-то, незнакомые Кириллу. Потом он снова оказался на дорожке, пятнистой от солнца и веселой, и, предчувствуя близкую кромку леса – впереди синело небо сквозь занавес листвы, – прибавил шаг. И неожиданно уперся в высокую стену из синеватого гладкого бетона. Показалось, что холодные плиты уходят влево и вправо до самого горизонта...

И асфальтовая дорожка упиралась прямо в стену. Кирилл снял фуражку и закурил: по топографии можно было ставить железный «неуд». Дендрарий ему представлялся неким сквером или уж маленьким парком, тут же был самый настоящий лес, разве что ухоженный, облагороженный аллеями, дорожками и бесконечной сетью тропинок. Буйные кроны деревьев напрочь заслоняли видимость и прятали солнце. Кирилл усмехнулся, представив, что придется, наверное, влезать на стену или дерево, чтобы определить направление и сориентироваться, и пошел вдоль стены. За нею слышались конское ржание, негромкий рокот маленького трактора и неразборчивые голоса – эдакие сельские звуки среди большого современного города. Все здесь было странно и чудно: выйдя из такси и ступив за ворота, он и впрямь оказался в каком-то непривычном мире, о существовании которого он не подозревал и не мог предположить его существования. Командирские часы показывали половину шестого утра, спешить было некуда, и то обстоятельство, что он заблудился, причем в парке, посаженном его дедами и прадедами, веселило Кирилла. Старший Ерашов, Алексей, утверждал, что, кроме старой дубравы, все остальные деревья были посажены за триста двадцать лет исключительно руками Ерашовых, причем многие редкие саженцы привозились из Бессарабии, Болгарии, Турции, с Кавказа, из Сибири и даже Палестины. И надо же, насадили такой лес, что в нем можно заблудиться! Конечно, относительно: можно покричать кого-нибудь за забором и спросить дорогу, можно просто стать на любую тропинку, и она, соединяясь с другими, обязательно куда-нибудь выведет, а на аллеях, заметил Кирилл, стоят даже какие-то указатели, но удивительно то, что, оказываясь, собирая с миру по сосенке, за триста лет можно вырастить такой огромный и, несмотря на городское окружение, девственный лес. Это при такой короткой, сиюминутной человеческой жизни! Захочешь пройти сквозь него напрямую – не пройдешь...

Боковым зрением он вдруг заметил какой-то предмет, выбивающийся из привычного ряда предметов – корней и корневищ, змеями выползающих из земли, старых пней, свежих, сломленных ветром сучьев. Что-то неестественное, уловленное сознанием запечатлелось в мозгу, но взгляд не находил этого предмета. Кирилл вернулся назад, осматривая землю с чахлой от сумрака травой: в училище ему прививали стойкую реакцию – все видеть и замечать. Танкисты чаще всего подрываются и горят, если у них плохо работает «самый тонкий и самый чуткий инструмент» – человеческий глаз. Его уверяли, что и при ограниченной броней видимости можно узреть абсолютно все, даже взрыватель мины в траве и выпущенную в тебя гра-

нату. Кирилл поднырнул под стебли ивы и тут чуть не наступил на... человеческую руку, торчащую из земли, слегка присыпанную прошлогодней листвой. Он склонился и смел листья: рука была женская, тонкая, изящная, но серый лишайник уже обезобразил ее, расползаясь по точеному мрамору. Бросив чемодан, он стал разрывать пальцами мягкую, еще не земляную подстилку, думая, что здесь лежит целая скульптура, но рука неожиданно опрокинулась и обнажила рану – сиреневый зернистый скол чуть ниже локтя...

По всей видимости, скульптура стояла на поляне, теперь заросшей плакучей дикой ивой. Кирилл поковырял ботинком пригорок среди них – посыпалась кирпичная крошка...

И снова недвижимый утренний воздух ударил его волной: прикасаясь к мраморной руке, он опять ощутил вечность. Все умерло и разрушилось, все обратилось в перегной, в каменную крошку, в песок, но женская рука, выточенная из мрамора, оставалась, как, наверное, сто или двести лет назад. Она не состарилась, не потеряла блеска и чистоты контура, и даже ободки узких ноготков, очерченные и отшлифованные мастером, оставались свежими и живыми. Кирилл завернул находку в полотенце, спрятал в чемодан и огляделся, чтобы запомнить место. Но деревья вокруг, огромные и прекрасные, показались одноликовыми, как и стена, составленная из гладких бетонных плит. Тогда он достал тюбик зубной пасты и нарисовал на стене большую стрелу острием вниз. Он надеялся на свою зрительную память; он кое-чему внял, слушая лекции танкиста-афганца, и, пожалуй, мог бы до конца поверить в исключительность человеческого глаза, если бы этот танкист не горел и не подрывался...

От разрушенной скульптуры он направился в глубь Дендрария. Косые лучи солнца пронизывали лес и иногда слепили, надолго оставляя в глазах бордовые пятна. Он не заботился о времени и направлении, положившись на судьбу, и теперь лишь с любопытством ждал, куда его вынесут ноги. Ему нравилось испытывать рок: неожиданный поворот или стечение обстоятельств потом оказывались закономерностью, правда, сложной и непредсказуемой. Еще он любил рубить гордые узлы, когда нормальная логика выходила из повиновения, однако и в этом случае после досконального анализа тоже усматривалась закономерность. Все эти премудрости назывались «тактическим» мышлением, которым владеют военачальники и картежные шулера.

Через несколько минут он очутился на аллее, по которой еще не ходил, однако пересек ее и только скрылся за какими-то приземистыми, с плоской кроной, хвойными деревьями, как услышал легкий шелест подошв и стук, словно по звонкому детскому мячу.

По дорожке бежал тот самый человек с жеребенком, и последний по-прежнему дурачился, заигрывая с хозяином. Пробегая мимо Кирилла, жеребенок почуял его, отстал и остановился, запрядал ушами, готовый в любое мгновение сорваться и улететь. Кирилл высунулся из-за дерева, хотел поманить его, да хозяин снова прокричал властно и как-то зло:

– Ага! Ага!

Послушный конек с места взял в галоп и умчался.

Кириллу же вдруг надоело искушать судьбу. Он вернулся на аллею и пошел на солнце, встающее в дальнем ее конце. Все эти детские страхи и взрослые ощущения вечности показались глупостью и мистикой, способной расчувствовать впечатлительных девочек с какого-нибудь филологического факультета. Надо же, будто затмение нашло! Ничего себе, русский офицер!.. С каждым шагом Кирилл, словно гвозди, вгонял в себя трезвые, благоразумные мысли. Лес как лес, и ничего в нем нет: бестолково распланированные аллеи, дурацкая железобетонная стена, какой-то инфарктник носится с жеребенком, как с собачонкой. Нормальная всеобщая чокнутость. Что у современников, что у его, Кирилла, предков. Это ведь надо было додуматься накрутить лабиринт вместо главной аллеи и нескольких второстепенных, примыкающих к ней. И все! Пройдет хоть тысячу лет – никто не заблудится, потому что во всем мире принято дом или замок ставить в конце главной аллеи, а не прятать его в одичавшем лесу.

Тут он вспомнил о мраморной руке, спрятанной в чемодане, и раздражение на себя достигло предела. Кирилл свернул за деревья, достал находку и, оглядевшись, – не видит ли кто? – забросил ее подальше в лес. Археолог нашелся, стрелки на заборе рисовал... Если бы узнали на курсе!.. Не мраморную, не каменную, а живую, горячую женскую ручку уже следовало бы держать в своей руке. Все-таки час минул, как он вышел из такси! За это время нормальный лейтенант Российской армии назначает пятое свидание. И девушки уже летят под трамваи и автомобили, потому что в их глазах ничего нет, кроме звезд...

Аллея вдруг уперлась в горбатого стеклянного монстра, пятнистого от фанеры, вставленной вместо некоторых стекол. Не благоухание тропической растительности виделось за стенами этого зимнего сада, а нищета косилась кривым глазом. Похоже, к павильону делали все новые и новые пристройки, как в длину, так и ввысь, по мере роста экзотических деревьев, и такого нагородили, что при хорошем ветре весь этот гений архитектурной мысли рухнет в одночасье и если не раздавит, то обнажит и отдаст на волю русским морозам неконсервированный тропический продукт... Кирилл обошел издыхающего монстра и увидел дом. Возможно, деда Кирилла когда-то жили в красивом доме, с лепными карнизами, белыми пилястрами и башенками по углам и над парадным входом. Однако нынешние жильцы ободрали все возможное, куда могли дотянуться рукой, и если не ободрали, то привели дом в такое состояние, что остались лишь атавизмы от былого великолепия: куски лепнины, элементы декоративной отделки и башенки на крыше. Затем покрасили его, разумеется, в серый цвет...

И это был тот самый дом, о котором Алеша писал в каждом письме, постепенно и умышленно создавая у Кирилла образ родового гнезда. И создал! Кирилл все-таки рассчитывал увидеть не замок, но нормальный дворянский дом начала прошлого века, примерно такой же, в каком размещался гарнизонный Дом офицеров возле танкового училища. Можно было представить, что творится внутри «родового гнезда»: обыкновенный «совковый» клопчатник, коммуналка с расхристанными общественными помещениями. И на это удовольствие Алеша поменял отцовскую адмиральскую четырехкомнатную квартиру в Питере?!

Кирилл снял фуражку, парадный мундир и галстук, закурил и присел на чемодан. Ему показалось, что ветерком нанесло запах жареного лука, которым обычно пахло во всех коммуналках России, и сразу представились жирные тетки в затрапезных халатах у общественной плиты – папиросы в зубах, дым и бесстыдный диалог... Человек в спортивной майке и трусах тренировал жеребенка возле сараев – брали барьеры, и хозяин при этом скакал резвее. Бойкий конек ленился и в самый последний момент ловко огибал поднятую над землей жердь.

– Ага?! Тиимать! – то ли ругался, то ли командовал хозяин, в который раз устремляясь к барьеру.

И где-то там же орал голодные свиньи, приводя этот пейзаж к закономерной завершенности.

Кириллу не хотелось идти в дом и отыскивать свою квартиру, а точнее, ту ее часть, которая принадлежала ему в общей ерашовской коммуналке. Алеша присылал ему план, где были вычерчены – конечно, без масштаба, – все комнаты, выменянные им, и в том числе «комнаты» Кирилла. Тогда они казались приличными, хотя и смежными, но сейчас, в натуре, они представлялись как две конуры, образованные за счет перегородки. А что там еще может быть, за такими стенами? Он отщелкнул окурочек и отправился к озеру, сверкающему за домом. Берег его оказался кочковатым, заросшим осокой, однако тропинка заканчивалась деревенскими мостками, висящими над водой. Кирилл разделся, попробовал ногой воду и, не раздумывая, нырнул. Озеро оказалось светлым, глубоким, а песчаное дно золотилось и переливалось от солнца. Он вынырнул далеко от берега и обернулся...

И вдруг увидел, что дом с тыльной стороны почти не тронут временем и покрашен как надо – весь декор белым, а стены приличного стального цвета. Тем более показалось, что он вовсе не врос в землю, а, напротив, приподнялся и теперь стоит на холме, довлея и над лесом, и

над странным сооружением из стекла и фанеры. То ли чистая, прохладная вода, то ли это преобразование дома приподняли настроение, и по телу пробежал ток радостной силы и свободы. От казарменного однообразия и муштры он много занимался спортом, тем самым и коротая время, и сбрасывая излишки энергии. Два года «качался» на снарядах – это было повальное увлечение в училище, и если бы не скудное по белковому рациону питание и не устный приказ начальника курса – более двух в раз в неделю не «качаться» (курсанты начинали с трудом влезать в люк механика-водителя), Кирилл бы наверняка достиг «голливудской» формы. Кость была широкая, порода мускулистая и крепкая – только мясо наращивай! Однако что приветствовалось в десанте, не поощрялось в танковых: машины приспособлялись для низкорослых и щуплых, и проблемы акселерации ставили конструкторов в тупик...

Солнечное утро и прохладная вода, ощущение сильного, послушного тела и сознание того, что еще только начало лета, а к месту службы следует прибыть в конце августа, как-то пошкольному предвещали радость долгих и беззаботных каникул. Он выплыл на середину озера – дом отсюда показался еще выше и солидней – и стал дурачиться, как жеребенок: кувыркался, вертел «водяную мельницу», ныряя, доставал ракушки, а потом грел ноги на солнце – на дне били ледяные ключи. И неожиданно заметил, что купается уже не один. Неподалеку от берега почти так же дурачились в воде мужчина и жеребенок. Вдвоем им было веселее, к тому же они купались на отмели, и конек как-то уж больно красиво, грациозно плясал в воде, взбивая ее копытами выше головы. Хозяин же дразнил его – то зазывал на глубину, то будто бы пытался сесть верхом или просто плескал водой в морду жеребенка. Кирилл поплыл к ним и закричал просто так, дразнясь:

– Ага! Ага!

Жеребенок встал и наострил уши, а его хозяин, пользуясь случаем, стал скрестить спину и круп щеткой. Кирилл нащупал дно и подошел к жеребенку.

– Это что, имя такое – Ага? – спросил он, намереваясь тронуть рукой сторожкую голову конька.

– Ага! Ага! – закивал мужчина и засмеялся.

– Странное имя. – Жеребенок не дал себя тронуть, сдал назад. – Ваш личный конек, да? А какой он породы? Красавец!

– Ага, тиимать, – весело ругнулся хозяин и что-то замаячил рукой.

Кирилл сообразил, что мужчина не может говорить, хотя все слышит и понимает. Его жеребенок тоже все слышал и понимал и в ответ на похвалу пошел вытанцовывать круги по воде, мол, любуйтесь! Каков я? А?!

– Вы здесь живете? – Кирилл указал на дом, и мужчина закивал. – А я – Ерашов, Кирилл. Слышали такую фамилию? Мой брат квартиру поменял...

– Ерашов? – вдруг спросил мужчина и обрадовался чему-то. – Ерашов. Ерашов! Тиимать!

– Да, Ерашов... – Кириллу показалось, что он сейчас бросится обниматься, однако странный сосед схватил его за руку, как мальчишку, и потянул на берег. Рука у него была жесткая, пальцы деревянные, и, видимо, он совсем не ощущал ее силы. Кирилл подчинился, увлекаясь его возбуждением и задором, стал торопливо натягивать одежду.

– Как вас зовут? – спросил он. – Давайте уж познакомимся...

– А-а-р... – прорычал тот и, засмеявшись, выпалил: – Па-лыч! Палыч!

Он подхватил чемодан и потянул Кирилла к дому. Кирилл не привык, а точнее, не ожидал чужого восторга по поводу его приезда и несколько смутился и поглядывал на Палыча с недоумением: что это он так? Уж не родственник ли? Жеребенок, отряхиваясь, вылетел из воды и дал стрекача мимо дома, к сараям. Однако Аристарх Павлович словно забыл о нем, улыбался и все что-то силился сказать. Он достал спрятанные ключи и стал отпирать дверь, закрытую аж на три внутренних замка. Потом сделал знак – тихо! – и впустил гостя.

– Ерашов! – торжественно прошептал он и указал на старинное кресло возле камина. Кирилл сел, а Аристарх Павлович отчего-то засмеялся и принялся накрывать на стол, причем уж больно чинно – салфетки, на них блюда, потом чашки, серебряные ложечки, вазы и вазочки, молочник, кофейник, сахарницу. Посуда была музейная, непривычная – такая изящная и тонкая, что боязно взять в руки. Выставлял и все повторял:

– Ерашов! Ерашов!..

Принес с кухни кипящий самовар и лишь тогда написал на бумажке и подал Кириллу.

– «Вся посуда на столе – ваша, ерашовская», – прочитал тот и пожал плечами. – Как это – ваша?.. Неужели сохранилась?

– Тиимать! – воскликнул Аристарх Павлович. – Ага... ти-имать.

И снова стал писать: «Пока ваши спят, попьем чаю. Когда встанут – услышим. Будь как дома!»

– А кто здесь – наши? – не понял Кирилл. – Кажется, я первым приехал. Алеша только через месяц...

«Полина Михайловна», – написал Аристарх Павлович.

– Но я ее не знаю, – признался Кирилл. – И никогда не видел. Правда, Алеша писал, что родственница.

«А Надежду Александровну?» – спросил в записке Палыч.

– Представления не имею, – пожал плечами Кирилл. – У нас же родственников вообще не осталось. Если не считать бабушку Полину...

Палыч отчего-то погрузился и разлил чай. Кирилл, с детства привыкший к солдатским ложкам и кружкам, ничего подобного, что было на столе, в руках не держал. Серебро и фарфор выскальзывали из загрубевших от железа пальцев. И надо же было случиться такому – выронил чашку с огненным чаем и, испугавшись ожога, мгновенно убрал колени – нормальная, закономерная реакция. Чашка упала и разбилась вдребезги, и лишь хрупкая петелька ручки осталась целой. Лучше бы ошпарился кипятком! Ведь только что любовался ею, совершенно невредимой, существовавшей наверняка больше ста лет, и вот только осколки под ногами...

– На счастье! – неожиданно воскликнул Палыч и засмеялся. – На счастье!..

А дальше – тык, мык... и ни слова больше не получилось.

– Нет, Палыч, дайте мне кружку или стакан, – решительно попросил Кирилл. – Я вам всю красоту перебью.

Палыч же, смеясь, написал: «Бей, все равно посуда не моя – ваша!» Однако принес из кухни стакан в серебряном подстаканнике.

– То есть как – наша? – снова спросил Кирилл. – Вы что, хотите ее отдать нам? Ерашовым?

Палыч закивал – ага! Ага! И написал: «Обменяюсь с вами на простую современную».

– Ну, с этими вопросами к Алеше, – сказал Кирилл. – Или к Вере, если она захочет сюда переехать. У меня за душой не то что посуды, а вообще... Одно предписание: явиться к месту службы... Хотите совет, Палыч? Ничего не отдавайте и не обменивайте. С какой стати? Вы что, отбирали ее, посуду эту? Реквизировали? По вашему возрасту вижу – нет... Как она к вам попала?

«Барыня Елена Васильевна дала моему отцу, чтобы закопал. Потому красные не растащили. А потом он откопал», – написал Палыч.

– Кто такая Елена Васильевна? – спросил Кирилл. – Я ее тоже не знаю.

«Свою прабабку не знаешь?»

– Не знаю! А что особенного? – возмутился Кирилл. – Между прочим, я совсем недавно узнал, что Ерашовы – это те Ерашовы. Кто бы нам рассказал? В детдоме вообще всех под гребешок... Сейчас, конечно, дворянские собрания, организации. У нас в училище оказалось – плюнь, и в столбового попадешь. А то в князя!.. Родословные начали копать, голубую кровь

искать, корни!.. Кровь, Палыч, сейчас у всех красненькая. И у меня тоже. Я не поручик Голицын и не корнет Оболенский... Ходят, выдрючиваются – смотреть тошно. И Алеша тоже: в каждом письме – голубая кровь! Русское офицерство! Честь!.. Эх, Палыч, не верь никому. И кровь у нас красная, и армия красная. Так что не отдавай... фамильное серебро!

– Тиимать... – проронил Палыч, хотел что-то написать, но бросил карандаш.

– Нет двора, нет и дворянства, – заключил Кирилл, допивая пустой чай. – Все остальное – игра или спекуляция.

«Тебя обидели?» – спросил все-таки Палыч.

– Меня обидеть невозможно, – уверенно сказал Кирилл. – Десять лет детдома, пять суворовских лет и четыре – курсантских. Полный иммунитет и независимость.

Палыч написал: «Жалко чашку» – и полез под стол собирать осколки. В это время за внутренней дверью, соединяющей квартиры, послышались шаги и скрип половиц: в доме Ерашовых просыпались...

Адмирал Ерашов не был чисто военным человеком, и при том, что состоял на службе, носил морскую форму, получал звания, считал себя только доктором наук и физиком-ядерщиком. Но не считал себя и чистым ученым, поскольку не занимался теорией, а служил представителем заказчика на оборонных заводах: принимал готовые изделия в виде ядерных боеголовок, авиационных бомб, торпед и снарядов и под конец службы – атомные подводные лодки, вернее, двигатели на ядерном топливе. Всю жизнь связанный с секретами и повязанный ими, он и погиб-то в полной секретности, и о смерти его почти никто не узнал. Даже собственной жене не сообщили ни об обстоятельствах гибели, ни о том, где похоронено тело – в земле ли, в море, по походному морскому обычаю. Ко всему прочему, еще и подписку взяли о неразглашении причин смерти, если таковые вдруг станут ей известны. Конечно, окружили заботой адмиральскую семью, назначили большую пенсию, гарантировали лучшие военные училища для четырех его сыновей и университет для дочери, хотя четвертый сын к моменту гибели два месяца как родился. Едва оправившись от шока, адмиральша попыталась все-таки через друзей мужа и его сотрудников выяснить хотя бы место, где его могилка, но те, видимо, тоже давали подписки и лишь разводили руками да сожалели. Тогда она отправилась по министерским кабинетам, всюду таская с собой грудного Кирюшу, но, так ничего и не добившись, заболела от безысходности и горя. Ее положили в психбольницу, и два месяца за детьми ухаживали военные медсестры. После выписки она прожила дома всего две недели, почувствовала себя еще хуже – говорили, что у нее «сумеречное состояние». Она ушла из дому будто бы искать могилу мужа, и ее где-то нашли и снова отправили в больницу, на этот раз навсегда. Она там скоро умерла и тоже не оставила на земле даже могилы...

Младшего, Кирилла, поместили в Дом ребенка, а старших детей отвезли в детский дом, подшефный Министерству обороны.

Спустя шестнадцать лет Алексей Ерашов, герой афганской войны, долечиваясь в московском военном госпитале, пробился к одному из заместителей министра и потребовал сообщить ему, как погиб отец и где похоронен. В то время Советскую Армию били в хвост и в гриву на всех фронтах газетной войны; охваченные паникой, генералы стали сами правдоискателями и либералами, и потому быстро отыскивались документы, экспертизы и свидетельства с такими грифами, что боязно было не то что читать простому летчику-майору, а и на свет выносить, как фотобумагу.

Адмирал Ерашов погиб во время пожара, который случился при испытании систем двигателя атомной подлодки. Но он не сгорел, а был, по сути, задушен противопожарной пеной на углекислотной основе, по чьей-то оплошности накрепко задраенный в отсеке. Алексей не виновных искал, а могилу, памятуя страстное желание матери, однако выяснилось, что тело

отца кремировали, причем безымянно, предварительно присвоив ему номер «263-А». Факт кремации подтверждали некий мичман Котенко и старший матрос Рясной.

И в тот же год Вера Ерашова выяснила обстоятельства смерти матери, ибо гласность пробила бреши в стенах психушек и вместе с больными выпустила на волю тайны инквизиции. Мама умерла своей смертью – от тоски. Правда, тоскуя по мужу, с пятью детьми на руках, она и в самом деле сошла с ума, потому что в своем «сумеречном состоянии» ходила повсюду и рассказывала, что ее муж, контр-адмирал Ерашов, работал на секретных заводах, испытывал атомные подлодки и погиб. А ей, жене, даже не позволили его похоронить и не говорят, где могила.

Маму тоже кремировали без востребования урны с прахом...

Четверо старших попали в один детский дом, хотя и в разные корпуса, в зависимости от возраста. Алексей, Вера и Василий уже ходили в школу, поэтому могли встречаться на переменах и больше были вместе; Олег жил в блоке младших, откуда выпускали разве что на прогулку и куда почти не впускали старших, чтобы не хулиганили и не воровали. Часто после школы братья и сестра подходили к блоку и стояли подле дверей, заглядывали в окна и ждали сердобольную воспитательницу или техничку, которая впустит к Олегу. Звать его не решались после того, как их однажды вообще прогнали: дети лезли в окна и выдавили стекло. Если же Олегу разрешали выйти к своим, то Ерашovy садились на скамеечку возле блока и просто тихо сидели. Олег поначалу очень тосковал по своим и всякий раз плакал, когда видел их. В ответ на его слезы сначала плакала Вера, потом Алеша и наконец не выдерживал самый стойкий на мокроту Вася. И так наревевшись, они расходились по своим блокам до следующей встречи.

Кирилл же незаметно отошел от семьи с самого младенчества. О нем помнили, и Вера даже писала ему, полуторогодовалому, письма, однако расстояние как бы затушевывало живую связь в детских душах. Он становился братом-памятью и не имел уже реального образа. Вслед за Кириллом постепенно начал откалываться Олег – осваивался в блоке младших, ему становилось интереснее играть со сверстниками-дошколятами, чем реветь с братьями и сестрой. В пять лет он не мог еще ярко и глубоко испытывать горе; то был возраст дерева-саженца, которое можно безболезненно выкапывать и переносить в другие места, когда у трех старших уже загрубел и разветвился корень, окрепла сердцевина и разметалась крона. Они чувствовали, как Олег чуждет и нет у них такой силы, способной удержать его в семейном кругу. Случалось, что подойдут они к блоку Олега, а тот хоть и видит их в окно, однако не выходит – то язык, то фиги кажет и смеется. Как-то раз на прогулке его увидели, обрадовались, побежали – Олег! Олежа! – он же глянул на них как-то испуганно и скорее в свой блок, спрятался...

Или он устал от горя и больше не хотел вспоминать его?

И вот тогда Алеша отправился к директору детдома.

– Поселите нас всех в одном блоке, – попросил он. – Мы хотим жить вместе. И будем вести себя хорошо.

– Мы еще живем не так богато, чтобы жить, как хочется каждому, – сказал директор. – Я знаю, что ты сын адмирала, боевого и заслуженного моряка. И именно потому ты должен помнить, что мы все сидим на шее у государства. Ты уже взрослый и видишь: мы же ничего не производим, а только потребляем. Видишь?

– Вижу...

– Вот и молодец, – похвалил директор. – На будущий год ты пойдешь учиться в нахимовское или суворовское училище, на тебя есть разрядка, между прочим, именная. О тебе государство проявляет заботу. Вот иди и учись, чтобы оправдать доверие.

Алеша вышел от директора и сел в уголке административного блока. Он так и не понял, почему нельзя жить вместе, и одновременно уяснил, что ходить и просить всегда очень трудно. Но возвращаться с отказом было стыдно, а к кому еще пойти, он не знал, и потому просидел в

углу до обеда. Его почему-то никто не замечал, словно так было и надо, и только секретарша директора раз попросила его встать, чтобы бросить ненужные бумаги, – он сидел на мусорном бачке с крышкой. И лишь в обед он понял, что никому не нужен и потому все пробегают мимо и даже не ругают за пропуски уроков. Взрослые воспитанники, оставленные до армии при детдоме, принесли судки, и весь административный блок собрался в комнате, откуда вскоре послышались звон тарелок, ложек и веселый смех. Жизнь как бы обтекала Алешу и существовала без него. Он мог бы сейчас закричать или разбить окно – ничего бы не изменилось, никто бы не высунулся даже, чтобы узнать, в чем дело.

Возбужденный от таких мыслей, Алеша побродил по пустому коридору, потрогал, потолкал руками стены – отчего-то ему чудилось, что коли он невидимый для всех, то может пройти сквозь стену. В первые детдомовские ночи ему снился один и тот же сон: будто его хватают, как партизана или разведчика, и бросают в тюрьму, в камеру-одиночку. Стены в камере сырые, шершавые – железобетонный мешок, но одна стена выложена из блоков зеленого стекла и слегка светится. Будто Алеша мечется в камере и не может найти дверь – ее просто нет, и неизвестно, как его туда ввели. В миг нестерпимого страха вдруг стеклянная стена начинала мерцать белым светом, и сквозь нее, как сквозь дым, медленно проникала рука мамы – он узнавал ее по ладони с желтым колечком. Он схватывал эту руку и тянул к себе; и тогда мама проходила сквозь стекло, но только наполовину – рука, плечи и голова. И вдруг становилась неестественно высокой, гигантской, отчего и потолок вздымался вверх, и стеклянная стена вырастала до небес. Алеша слегка пугался: люди не бывают такими огромными!.. Однако мама выводила его из каменного мешка, причем он легко и незаметно проходил сквозь стекло за материнской рукой. Оказавшись же на свободе, он мгновенно оставался один...

Стены в административном блоке были крепкими, хотя такими же серыми и шершавыми. И лестничные клетки были забраны стеклянными кубиками...

Он снова сел на мусорный бачок и, грызя ногти, думал: «Буду сидеть до конца! Буду сидеть, и все. Что они со мной сделают?» После обеда из-за этих ногтей его заметила медсестра. Она пообедала и вышла из комнаты веселая, но тут натолкнулась взглядом на мальчишку.

– Ты почему грызешь ногти? У тебя там грязь, микробы, а ты их в рот тащишь. Немедленно прекрати грызть ногти!

А Алеша назло ей сидел и грыз и сплевывал откушенные частицы на пол.

– Мальчик! Ты почему не слушаешься? – изумилась медсестра, и на ее изумление выглянула секретарша:

– Что такое?

– Да вот, сидит мальчик и грызет ногти! – возмутилась медсестра. – Дай ему ножницы. Пусть обстрижет на наших глазах. И чтоб больше никогда в жизни не грыз!

Ему принесли ножницы и положили на колени.

– Стриги!

Алеша понял, что не нужно прикасаться к этим ножницам, только грызть и грызть! И будет спасение! И он стал грызть еще старательнее, так что из-под ногтей пошла кровь.

– Смотрите! Что он делает?! – закричала медсестра. – Да он просто ненормальный! Как твоя фамилия, мальчик?!

Тут на шум выглянул сам директор. Он тоже обедал, был веселым и о чем-то только что рассказывал.

– В чем дело, товарищи?

– Ногти сидит и грызет! – возмущенно доложила сестра. – До крови разгрыз!

– Поселите нас вместе, – не выпуская ногтей изо рта, сказал Алеша. – Мы хотим жить в одном блоке.

Директор грозно мотнул головой и сказал секретарше:

– Дела Ерашовых ко мне на стол!

И пропал за дверь вместе с секретаршей и медсестрой. Грызть Алеше уже было нечего, но он грыз. Минут через пять его пригласили к директору, но уже вежливо, как больного. Директор был сердит, но не на Алешу, а на своего заместителя – женщину косоглазую, с огненными волосами.

– Я сколько раз буду повторять? – строжился он. – Братьев и сестер не разлучать по возрастному признаку. А вы опять разлучили. Немедленно переведите в один блок. Дети не должны страдать!

Алеша ушам своим не верил: утром еще сидел и убеждал, что вместе жить невозможно, и суворовским училищем манил. Неужели на него так подействовали ногти, съеденные до мяса? Или разобрался наконец, что они – братья и сестры?..

И тут Алеша ощутил внезапное и никогда не испытанное желание – подбежать к директору и поцеловать ему руку. Он даже сделал движение к нему, но в следующее мгновение ужаснулся и страшно устыдился своего желания. Оно было чужим, мерзким и отвратительным, как плевок на асфальте. Алеше стало дурно, от тошноты искривил рот. Он бросился прочь из административного блока и на улице, схватив снег, стал тереть лицо, руки, словно хотел отмыть липкую, скользкую гадливость.

Олега в тот же день переселили в блок к воспитанникам школьного возраста и койку поставили рядом с койкой старшего брата, но Алеше долго еще было мерзко и безрадостно. Перед глазами стояла короткопалая, рыхлая рука директора... И он возненавидел самого директора и много раз клялся, что никогда больше не станет ходить и просить что-либо. И свято верил своим детским клятвам. Впрочем, и Олегу в «семейном кругу» лучше не стало. Теперь он тосковал от одиночества, когда все убегали в школу, бродил по пустому блоку или сидел возле окошка, глядя на улицу. Чтобы он не забрел куда-нибудь, его просто запирали на ключ. Ко всему прочему, стоило Алеше и Васе на миг потерять его из виду, кто-нибудь из мальчишек немедленно давал Олегу пинка или ставил «щелбан» – щелкал по лбу. То было какое-то навязчивое желание поддаться меньшему, показать свою жестокость и безбоязненность. Каждый раз братья доставали обидчика, хотя Олег не жаловался и терпеливо сносил обиды. Он словно хотел показать, что вынесет любую издевку и ни одной слезы не уронит. Иногда на шестилетнего Олега налетали сразу два-три подростка, клевали его со всех сторон, куражились, дразнили – он же лишь удивленно таращил глаза и даже не вздрагивал от затрещин. Голова и тело становились резиновыми и не пропускали боли. Алеша узнавал об издевательствах по красному лбу брата, и в блоке возникала стремительная драка. Рослых братьев Ерашовых побаивались, тем более когда к ним подключалась еще и сестра Вера – кошка в драках!

И не из этой ли боязни мальчишки задирали меньшего, Олега?

Однажды кто-то ткнул Олегу пальцем в глаз, и глаз покраснел, загноился, после чего братишку увели в больничный блок. И как назло, Алеша с Васей дежурили на пищеблоке и ничего не могли знать. Вечером прибежала перепуганная Вера, сообщила, и тогда старший Ерашов взял на кухне хлебoreзный нож, пришел в спальню и сказал:

– Если кто еще притронется к моему брату – зарежу.

Сказано было негромко, но с незнакомой внутренней остервенелостью: в ту минуту он действительно бы зарезал обидчика. Подростки, как и любой молодняк, больше слышали интонации, чем смысл слов, реагировали на явную угрозу и понимали силу: с того момента Олега никто не трогал. Взрослеющие мальчишки наконец разглядели в нем малыша, и возникло нечто напоминающее опеку. Но Олег уже был словно отравлен издевательствами и плохо воспринимал добро. Ему совали конфету – он швырял ее на пол, а подарки и гостинцы принимал лишь от братьев и сестры, да и то без особой радости. Детство порвалось в нем, испортилось слишком рано, как портится падалица – зеленые яблоки, сбитые ветром. Олег будто не жил, а переживал детство как длинный холодный дождь.

Вернувшись из больничного блока, Олег в первую же ночь забрался в постель к Алеше, прижался к нему – все-таки истосковался! – и неожиданно прошептал:

– Узнать бы, как там наш Кирюшка поживает...

Этот теплый и горестный шепоток застрял в ухе, словно остроугольный осколок.

– Узнаем! Я поеду к нему, и мы узнаем! – тут же решил Алеша.

Правда, он побоялся, что Олег начнет проситься с ним, однако брат все понимал: к Кириллу можно было поехать только «убегом». И не просился. Он лишь достал из потайного места никелированный шарик от кровати и сунул в руку Алеше:

– Отнесешь Кирюшке, в подарок. У него же скоро день рождения.

Эти шарики считались большой ценностью. Мальчишки постарше воровали спички, начинали шарики селитрой и взрывали, поэтому ни на одной кровати их не было.

– А вдруг Кирюшка возьмет его в рот и проглотит? – засомневался Алеша. – Он же еще маленький...

– Какой же он маленький, – не согласился Олег. – Скоро два года...

– Но все равно...

Олег подумал и нашел новый подарок – желтую, обклеенную костью клавишу от рояля. Разбитый черный рояль много лет лежал на черном дворе и постепенно вращался в землю. Клавиша была вкусно-гладкая и приятная для руки.

– Шарик возьми себе, – разрешил Олег. – А клавишу отнеси. Только это не простая клавиша, это волшебная палочка, но ты никому не говори! По секрету... Только никому-никому!.. У палочки такая сила! Я слеплю снежок, прикоснусь к нему, и он превращается в мороженое...

Ранней весной, накануне дня рождения Кирюши, Алеша впервые пошел в «убег». Бежали из детдома часто, группами и в одиночку, зимой и летом, и в основном, чтобы хлебнуть воли и посмотреть на мир: так ли живут все остальные люди на земле или не так? Беглецов ловили, препровождали назад, но бывало, некоторые возвращались сами. И потом рассказывали, что жизнь везде одинаковая и полная свобода только в лесу, где нет людей. Старший Ерашов вызывал доверие у воспитателей, и потому никто не заподозрил, что он собирается на волю. А ему давно копили деньги в дорогу, в том числе и девочки, с которыми жила Вера. Алеша научил сестру, что говорить, когда хватятся, и под утро, когда дежурная по блоку спала, с помощью Васи выставил стекло в туалете и выбрался во двор. Там же давно была заготовлена доска, чтобы махнуть через забор в безопасном месте. Так что через несколько минут Алеша уже летел к шоссе на Ленинград.

Машины еще не ходили, и он отправился пешком. По дороге он сочинял и выучивал историю своей жизни, если кто спросит. Он вбил себе в голову, что ему уже пятнадцать лет и он работает учеником каменщика на стройке, а живет в пригороде. И придумал себе родителей: отца-прораба и мать-домохозяйку. Это на случай, если кто подсадит на попутку и станет расспрашивать.

В этой воображаемой жизни все складывалось благополучно и счастливо...

Часа через два его догнал грузовик. В кабине было тепло и густо накурено, средних лет водитель оглядел попутчика и ухмыльнулся:

– Что, парень, в бега?

Все оборвалось в душе. Алеша отвернулся, размышляя, под каким предлогом выйти из машины и убежать. Но шофер похлопал его по затылку и успокоил:

– Ладно, не бойся... Я тоже в бегах бывал!.. Только ты больно уж рано дернул, холодно еще. Бежать хорошо в мае... Что, худо совсем?

– Не худо, – признался Алеша. – Я к младшему брату поехал, к Кирюше. Он у нас в Доме ребенка.

– Будет врать-то! – засмеялся бывалый беглец. – Скажи, на волю захотелось!.. Побегай, чего там. Да только не воруй. Станешь воровать – труба. А изголодаешься – шуруй назад. Примут, куда денутся?

– Вы тоже... из детдома убежали? – осторожно спросил Алеша.

– Да нет, парень, из другого дома... – проговорил водитель и замолчал.

Алеша убедился, что никогда не следует говорить правду первым встречным, ибо в правду не верят, но и врать надо учиться. Легенда о стройке и об отце-прорабе показалась ему глупой, несуразной, как если бы он рассказал, что отец его был контрадмиралом и погиб, выполняя свой долг по защите Отечества. Однако было радостно, что шофер попался «свой» и не собирався сдавать беглеца в руки воспитателей или в спецприемник для детей.

Через сто семьдесят километров показался Ленинград и развеял дремотное дорожное состояние. Возле кольцевой развилки шофер остановил машину и кивнул в сторону:

– Мне налево, брат. А ты дуй прямо!

– Спасибо, – сказал Алеша, отворачиваясь.

Шофер порыскал по карманам, достал мелочи семьдесят четыре копейки и подал Алеше:

– Держи! Погуляй, покути на воле... На воле, брат, все вкуснее. Да недолго тебе гулять, первый же мент возьмет. Когда в следующий побег рванешь – одежонку смени и волосы отпусти. Тебя же за версту видно – невольник... Ну, деньги-то бери!

До конечной станции метро Алеша добирался пешком. И в самом деле, за версту в нем можно было признать детдомовского: стриженный наголо, большеватая кепка-восьмиклинка и, наоборот, маловатое пальто. Одежду выдавали хоть и новую, но давно пошитую, пролежавшую на каких-то складах лет двадцать и так спрессованную, что складки не разглаживались ни утюгом, ни от долгой носки. И складской запах не выветривался – напротив, проникал в кожу и тело. В детдоме дух этот не слышался, но на воле, среди других запахов, казался резким и выдавал с головой.

Потом он нырнул в метро, где народу было много, и, как ему казалось, под землей все становятся равны, словно в детдоме. Алеша удержался от соблазна покататься на эскалаторах и отправился на поиски роддома, при котором и был Дом ребенка. Обходя стороной милиционеров и подозрительных прохожих, он сначала заглянул в магазин, чтобы купить подарок на собранные деньги, однако в детских товарах глаз у продавщиц был тренированным, и мгновенно послышалось:

– Парень, иди отсюда! Иди-иди!

Алеша даже не успел присмотреть подарок, чтобы попросить кого-нибудь купить его. Пришлось спешно уйти в тамбур и оттуда, сквозь стекло, выбрать игрушку. Ему понравился большой зеленый танк с лампочкой, но беда, не видно цены, даже если сложить ладонь трубочкой. И все-таки он сосчитал деньги – двенадцать рублей семнадцать копеек, приготовил их, как пропуск, и вошел в магазин. Большой танк стоил аж тридцать один рубль и был управляемый с помощью пульта и провода. Да рядом оказался еще один, неуправляемый и без электромоторчика, зато стреляющий пластмассовыми болванками. И стоил подходяще!

– Мне танк, пожалуйста, – вежливо сказал Алеша и сунул деньги.

– Деньги в кассу, – бросила продавщица и достала коробку с танком. Великое дело – деньги! И когда они есть, можно прийти в магазин в каком угодно виде и никто не прогонит. Алеша выбил чек, взял коробку и помчался искать брата.

Дом ребенка напоминал обыкновенные детские ясли с игровой площадкой во дворе. Только на улице было сыро, и детей не выпускали. Алеша махнул через забор, быстро нашел вход и подкараулил тетку в белом халате и ватнике, наброшенном на плечи. Она выслушала совершенно правдивый рассказ, но подозрительно спросила:

– Ты не обманываешь?

– Вот, подарок. – Алеша показал коробку. – Можете позвонить в наш детдом и спросить.

Тетка впустила его в дом и велела ждать в передней. Где-то за стенами слышались детский смех и плач, топот ножек и дребезг игрушек. Все это напоминало детский дом, только в каком-то уменьшенном, неразвитом виде – низкие вешалки, стульчики и горшки... В тепле Алешу разморило и потянуло в сон – к тому же ночь с Васей не спали, выжидая время побега. Сквозь дрему он видел, как в переднюю входили женщины в белых халатах, молча смотрели на него и уходили. Он знал, что из Дома ребенка наверняка уже позвонили в детдом, сообщили о беглеце, но ничуть не волновался: расчет был верным – пока оттуда пришлют воспитателя, пока он доберется до Ленинграда, Алеша успеет повидаться с Кирюшей.

Наконец Алешу раздели и повели на третий этаж. Там в какой-то приемной его накормили – время было обеденное, и Алеша решил, что сейчас ему приведут брата. Однако его проводили в кабинет с табличкой «Главврач». Седая строгая женщина в белом колпаке посадила Алешу к своему столу, а сама смотрела в какие-то бумаги и шурилась.

– Когда мне покажете Кирюшу? – спросил Алеша, щупая в кармане клавишу – волшебную палочку. – Пока я не увижу его, никуда не поеду.

Главврач вздохнула и прищурилась на Алешу.

– Ты уже совсем большой мальчик, – сказала она. – Совсем взрослый и умный.

– Мне пятнадцать лет, – зачем-то соврал Алеша, хотя врать здесь не имело смысла – в бумагах все написано...

– Тебе только тринадцатый, – мягко поправила главврач. – Но выглядишь ты действительно старше...

– Покажите мне брата, – перебил Алеша, глядя исподлобья.

И тут наступила странная, пугающая пауза. Женщина ушла к окну и, откинув штору, смотрела на улицу. Алеша вскочил – коробка свалилась на пол.

– Где Кирюша?!

– Ну-ну, успокойся, – миролюбиво сказала главврач. – Здесь твой Кирюша, в игровой комнате. Жив и здоров... Ты взрослый парень и уже многое должен понимать... Мне известно, что случилось с вашей семьей. Вы, четверо, уже достаточно большие, а Кирюша очень маленький. И вы все хотите, чтобы ему было хорошо, правда?

– Хотим, – вымолвил Алеша и стал грызть ногти.

– А как бы в детдоме хорошо ни было, все равно Кирюше в семье было бы лучше, правильно? – Она увидела, что он грызет ногти, но ничего не сказала. – Понимаешь, Алексей, твой брат совершенно не помнит родителей. И вас он тоже не помнит. Что поделать, такая жизнь. Дети, особенно младенцы, быстро привыкают к сиротству... И ты, как старший, должен это понимать.

– Я понимаю, – одними губами сказал Алеша, готовясь к чему-то страшному.

– Так вот, Алеша... Есть люди, очень хорошие люди. Муж и жена. У них нет детей. И они хотят усыновить вашего Кирюшу, понимаешь? Он станет их сыном, и ему будет очень хорошо с ними. Мы его специально к этому подготовим... Подумай сам, Алексей...

– Нет! – крикнул Алеша. – Не дам!

– погоди, мальчик, ну что ты? – по-матерински заговорила главврач. – Подумай, хорошо ли в детдоме живется? А скоро и Кирюшу туда переведут. Ты же не хочешь, чтобы ему было так же плохо и тяжело? Не хочешь?.. А у этих людей Кирюше будет лучше. Он станет жить дома, в семье, понимаешь?

– Я же... вырасту! – почти закричал Алеша. – Я скоро вырасту!

– Конечно, ты вырастешь, – согласилась она. – Но не так скоро... К тому же, кроме Кирюши, у тебя есть сестра и еще два брата...

Вдруг Алеша почувствовал, как душа его сжалась, охваченная судорогой, но вместе с тем из нее вырвался незнакомый и неуправляемый голос. Алеша закричал чужими словами,

и тихий этот крик чем-то напоминал тот, когда он пришел мстить с хлебoreзным ножом за обиженного брата.

– Я вырасту! Я вырасту и всех соберу! Всех! Никому не отдам! Никого не отдам! Вырасту! Вырасту!!

В кабинет главврача сбегались женщины, но главврач махала им рукой – идите, идите отсюда!

...Потом Алешу отвели в небольшой спортивный зал на втором этаже и велели подождать. Алеша почти совсем успокоился, и лишь жжение в груди осталось, как во рту после перца. Он рассматривал шведские лесенки, низкие перекладины, канаты и качели – все еще было маленьким, детским, но все уже насквозь пропиталось запахом казенного помещения, казенной одеждой и обувью – вездесущим сиротским запахом...

Нянечка открыла дверь почти неслышно и впустила двухлетнего мальчика в белой рубашке и белых колготках. Он был совершенно чужой, этот мальчик, и Алеша в первый миг растерялся – это что? Кирюша? Мой брат?.. Но нянечка склонилась к мальчику и сказала:

– Кирюша, вот это – твой брат Алеша. Иди к нему.

Кирюша сделал шаг и неожиданно звонко и отчего-то невероятно знакомо повторил:

– Алеша!

И словно подтолкнул Алешу с места.

Они побежали навстречу друг другу. Кирюша доверчиво вцепился в брата, положил голову на плечо и зашептал:

– Алеша. Братик Алеша...

Старая нянечка вдруг заплакала и опустилась на низенькую скамейку.

– Вот она, кровь родная... Надо же, надо же... А говорят... Вот она, кровь-то...

И Алеша едва сдерживал слезы...

### 3

Кирилл переночевал в своих комнатах всего один раз и на второй день явился с раскладушкой и постелью к Аристарху Павловичу.

– Пусти на квартиру, Палыч? – дурачась, попросил он. – Я там от тоски повешусь. Бабушка Полина своими мемуарами достала! Уже и телевизор перестала включать.

Места в бывшей гостиной было достаточно и не жалко, однако, опасаясь ревности соседки, Аристарх Павлович, крадучись от Кирилла, сходил к ней, чтобы уладить все недоразумения. Бабушка Полина была сердита.

– Переманил внука, – ворчливо заметила она. – А я ведь ждала его. Из-за них всех, можно сказать, и на белом свете задержалась, не умерла. Чем заманил-то? Жеребенком?

Аристарх Павлович вдруг понял, что заманил Кирилла тем, что не мог говорить. Похоже, младшего Ерашова тянуло к тишине, раздумьям и молчанию, но бабушка Полина, намолчавшись за тридцать лет одинокого лежания, теперь наверстывала упущенное, и откровенно сказать, этот фонтан выдерживала лишь Надежда Александровна. Сама немногословная, она избрала тактику либо отвлекать бабушку телевизором, либо слушать ее и никак не реагировать, занимаясь домашними делами.

– Пусть ночует у тебя, – разрешила бабушка Полина, польщенная тем, что Аристарх Павлович пришел к ней посоветоваться. – Но завтрак, обед и ужин только дома. Не корми Кириюшу, нечего. Пусть привыкает к родному гнезду.

И ее приживалка, Надежда Александровна, тоже застрожилась:

– Приехал человек в родной дом, а живет у чужого дяди... Для кого я готовлю – от плиты не отхожу?

– Мальчику необходимо мужское общество, – неожиданно заступилась бабушка Полина, умеющая быть снисходительной. – Он офицер. А мы с тобой – увы! – особы стареющие и скучные.

Таким образом, Кирилл поселился у Аристарха Павловича, тот, такой же одинокий, когда-то мечтавший о сыновьях, но имеющий дочерей, тихо этому радовался. В первый же день после обязательного «домашнего» ужина Аристарх Павлович достал припасенную бутылочку коньяку – грузинского, пятизвездочного, старого розлива, подпер дверь в квартиру Ерашовых каминной кочережкой, и они очень уютно устроились у огня, зажженного для красоты и удовольствия. Сидели, попивали вкусный коньяк из ерашовских бокалов черного стекла и вели мужской разговор.

«Тебе жениться надо, – написал Аристарх Павлович. – Не то попадешь в глухое место – сопьешься. А в людное, так по девкам затаскаешься».

– У меня задача – за эти два месяца найти невесту и жениться, – признался Кирилл. – Спиться не сопьюсь, у меня чувство меры... А вот к женатым офицерам совершенно иное отношение у командиров... Кстати, а почему бы тебе не жениться, Палыч?

«Хотел жениться, да инсульт помешал. Кому я нужен немой?»

– А некоторым женщинам это нравится! – с видом знатока заверил Кирилл. – В молчаливом мужчине чувствуется ум и сила.

Аристарх Павлович принес альбом, достал две фотографии и подал Кириллу.

– Дочки твои? – догадался тот, с любопытством оценивая девушек. – Вот эта мне определенно нравится. Как зовут?

«Ира. Она замужем», – написал Аристарх Павлович.

– Жалко... А то бы породнились, а? – засмеялся Кирилл. – Я бы тебя не Палыч звал, а папа!

Вторая, Наталья, по разумению Аристарха Павловича, была красивее, на два года моложе и к тому же незамужняя, но почему-то Кирилл не обратил на нее внимания. И все вертел в руках фотографию Ирины. «Дурочка, выскочила рано, – подумал про нее Аристарх Павлович. – Вот был бы тебе жених... Знать бы, из дому бы не отпустил».

Обе дочери Аристарха Павловича – сначала старшая, а потом и младшая – уехали в Москву, окончили училище маляров и стали носить странное, напоминающее отцу тюремный жаргон, имя – лимитчицы. Ирина вышла замуж, быстро освоилась в Москве и получила квартиру, а Наташа жила там уже четвертый год и все скучала по дому. Потому, наверное, и навещалась чаще. Без письма, без телеграммы вдруг объявится на пороге:

– Здравствуй, папуля! Вот тебе гостинцы от меня, вот от Иры – любуйся. А я посплю. Посплю и поеду. Мне завтра на работу...

Проспит день в родном доме, а вечером на электричку – и как будто во сне приснилась...

Аристарх Павлович с Кириллом под мужской разговорчик незаметно приговорили бутылочку, повеселели, расслабились – захорошело!

– Давай, Палыч, споем нашу строевую? – неожиданно предложил Кирилл. – Я запеваля! Ты подтягивай про себя. Ну? – И запел. – Во кузнице молодые кузнецы, во кузнице молодые кузнецы! Они куют, они куют – приговаривают. Они куют – приговаривают!..

Аристарх Павлович обрадовался, что строевая песня – совсем не военная, и стал подтягивать про себя. Кирилл же разошелся, сидя приплясывал, прихлопывал, дирижировал; в нем словно что-то прорвалось, открылось и выплеснулась наружу веселая, бесшабашная удаль. Заражаясь ею, Аристарх Павлович забыл, что за стеной давно уже спят бабушка Полина со своей приживалкой. Они допели «строевую», и Кирилл, не прерываясь, вдруг затянул казачью, знакомую, много раз петую Аристархом Павловичем.

– По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой!

И, не ведая того, не осознавая, что с ним происходит, Аристарх Павлович подхватил в полный голос:

– А дева там плачет, а дева там плачет, а дева там плачет над быстрой водой!

А спохватились они оба, когда допели песню, – заржали, как лошади, обнялись, потузили друг друга, поревели медвежьим ревом от восторга. Развязался язык!

– Солист! – орал Кирилл. – Шаляпин! А говоришь – немой!

– Тиимать! – восхищался Аристарх Павлович, но больше ничего не мог сказать – простую речь заклинило. Однако петь-то он мог! И собравшись с духом, он запел, как в опере:

– Еще бутылочку достану! И выпьем за язык!

Кирилл от смеха и восхищения повалился на пол. Смеялись до боли в скулах, до колик в животах; держали ладонями щеки, зажимали себе рты и снова взрывались хохотом, вытирали слезы. Аристарх Павлович выставил коньяк, с трудом плеснул в бокалы. Они выпили и приснули оба, тыча друг в друга пальцами.

– Салют дадим! Дадим салют! – пропел Аристарх Павлович и, сунувшись под диван, достал кольт. – Видал, какая пушка?

У Кирилла и вовсе глаза полезли на лоб.

– Палыч?! Ну, Палыч!.. Во игрушка! Да ты и вооружен! Дай посмотреть! Во сила! Какого калибра? Мизинец лезет!

Он был еще совсем мальчишка: вертел кольт в руках, обласкивал, чуть не целовал. Аристарх Павлович отнял у него игрушку, всадил обойму и махнул рукой – пошли!

На улице они обнялись, как два алкоголика, и запели, направляясь за озеро в лес:

– Степь да степь кругом, путь далек лежит! В той степи глухой замерзал ямщик!

Кирилл слова этой песни знал плохо, но две последние строчки сразу запоминал, подтягивал, и получалось хорошо. Очень хорошо! Голоса подходили по тембру, сливались, и в

вечернем темном лесу, под сводами крон, песня звучала, как в театре. А за озером, в сосновом бору, Аристарх Павлович выхватил кольт и дважды пальнул в небо.

– Салют! – пел он, словно колокол, а Кирилл трепал его за руку:

– Дай мне! Дай я!..

Аристарх Павлович вложил в его руку пистолет и, придерживая ее, направил в небо.

– Я сам! Я сам! – вырвался Кирилл. – Я же – офицер, тии-мать!

И тоже два раза выстрелил. После чего Аристарх Павлович забрал кольт, поставил на предохранитель и спрятал в карман.

– Патронов мало! – пропел он. – Шесть штук осталось.

– Да я найду к нему патронов! – пытался выклянчить Кирилл. – Дай еще! Хоть разок!

Аристарх Павлович по-скупердяйски выщелкнул патроны из магазина и оставил только один. Младший Ерашов, смакуя выстрел, аж постанывал от удовольствия. Грохотало здорово, наверняка в городе слышно, поэтому Аристарх Павлович запел уже серьезно:

– Теперь бежим, не то милиция приедет.

И они побежали. И дурачились по дороге: Кирилл изображал жеребенка, а Аристарх Павлович – немого хозяина.

– Ага, тиимать! – кричал он.

– Тиимать! – откликнулся «жеребенок», и оба ржали.

Оказывается, впопыхах и в восторге они забыли запереть входную дверь. Входили на цыпочках, вспомнив о соседях, да было поздно: у потухшего камина сидела Надежда Александровна. Она встретила мужчин презрительным молчанием и так же молча проследовала к себе, притворив дверь. Кирилл, по-школьному балуясь, передразнил ее походку и шмякнулся в кресло.

– Можно погулять русским офицерам? Законно погулять, находясь в отпуске?

Он был пьян и, как говорят алкоголики, сломался: руки не слушались, голова падала, хотя Кирилл старался держать ее прямо. Аристарх Павлович почувствовал свою вину, и грядущая завтрашняя выволочка от бабушки Полины в один миг смахнула молодецкую веселость и ухарство.

– Спать, Кирилл! – в приказном порядке запел он. – Ложись-ка на диван!

И почти волоком перетащил Кирилла в постель, раздел, укрыл и выключил свет. Сам же сел в кресло и радовался теперь тихо, под легкое свечение углей, исходящее из камина. «Ну и пусть, – думал он. – Пусть нам завтра влетит за гулянку. Было хорошо... Было так хорошо! И ему было хорошо, может, и к дому привыкнет. А к дому привыкнет – человек уже будет надежный. Глядишь, и я с ним оживу. Раньше говорил – теперь запел! Ну и буду петь. Буду петь...»

Наутро Кирилл проснулся, полежал, припоминая вчерашний шальной вечер, и тихо позвал:

– Палыч? А Палыч?

– Ага! – откликнулся тот.

– Здорово мы вчера погусарили? Со стрельбой... Или мне приснилась стрельба?

– Ага!

– Нет, ну правда? Салют давали?

– Ага! Тиимать...

Кирилл помолчал, повозился и сел на постели.

– Жениться надо... Действительно, забросят в глухомань – сопьюсь. И даже без глухомани могу... – И тут же поправился: – Нет, Палыч, я ведь редко выпиваю, от случая к случаю. Но чувствую, могу спиться.

– Ага, – поддержал Аристарх Павлович.

– Сегодня же пойду искать невесту, – серьезно сказал младший Ерашов. – Мы с парнями договорились... Через пару месяцев устроить совместную свадьбу. Ну, кто себе подруг найдет... А кто не найдет – с того штраф в пользу женихов... Все! – Он вскочил и стал делать энергичные упражнения. – Пьянки побоку, Палыч! Женимся! И ты тоже! За компанию, а?

– Ага! – засмеялся Аристарх Павлович.

– Палыч?! – вдруг закричал Кирилл. – Ты же вчера заговорил! Тьфу! Вылетело из головы! Ты же вчера песни пел! А какой голос у тебя прорезался! Ну-ка, спой!

Аристарх Павлович взял карандаш и крупно написал: «Боюсь!»

– Ну, блин, испугался! Пой!

«Пошли на кросс», – отписался тот и стал натягивать спортивную майку.

Они вывели жеребчика из стойла и побежали по аллеям, которые, если знать их расположение, замыкались в большой круг и проходили по самым заповедным местам Дендрария. Утро было ясное, роса еще искрилась повсюду и холодила ноги; остатки похмелья вылетели почти мгновенно. Заполошный жеребенок заставлял то набавлять темп, то сбрасывать его, вовлекал в игру.

Мужикам же было сначала трудновато, бросало в пот, подступала одышка, но расшевелились, взяли второе дыхание и стали замечать, что утро радостное, что трава в алмазах, как ордена, и птицы заливаются. На втором кругу Кирилл уже бегал взапуски с Ага, однако проигрывал: жеребчик, в крови которого бродила страсть к состязаниям, мгновенно набирал скорость и оставлял двуногого далеко позади. И потом, обернувшись, словно смеялся над ним: ну, как я тебя? То-то!..

На последнем кругу они свернули к озеру и, раздевшись на ходу, попрыгали в воду. И уж было начали веселую возню на отмели, да Аристарх Павлович вдруг хлопнул по голым ляжкам:

– Тиимать!

– Ты что, Палыч?

– Сколько время? – запел Аристарх Павлович. – На службу опоздал! Ага запрешь в сарай, накошишь сена! Я прибегу потом!

И помчался домой собираться на службу.

Кирилл, пользуясь случаем, часа полтора еще бесился с жеребчиком в воде, плавали с ним на другой берег, носились там по отмели и наконец, утомленные, нескорым шагом пришли домой. Ага он запер в сарае и пошел сдаваться бабушке Полине: делать нечего, после кросса и купания хотелось не есть, а жрать.

Бабушка Полина полулежала возле включенного телевизора и наблюдала борьбу у микрофонов.

– Полина Михайловна, простите великодушно, – дипломатично и ласково сказал Кирилл. – Мы вчера с Аристархом Павловичем устроили небольшую дружескую вечеринку... И пели песни.

Бабушка Полина словно его не видела, хотя внук торчал у телевизора. Тогда Кирилл убавил звук и сказал еще раз:

– Мы вчера устроили дружескую попойку с Палычем. Но все было прилично.

– Включи звук, – холодно сказала бабушка Полина.

– Ну простите, Полина Михайловна... Ну погусарили слегка. Да ведь в пределах допустимого. Правда, песни орали, но на это есть...

– Кто стрелял? – словно суровый командир, спросила бабушка.

– Кто стрелял? – пытался вывернуться Кирилл. – Что-то я не слышал стрельбы. А что – стреляли?

– Зато слышала я. Окно было открыто...

– Мы всего четыре раза...

– Не четыре, а пять!

– Ну пять, – признал Кирилл. – Салют давали.

– По шеям вам надо надавать! – возневилась бабушка Полина. – Гусары!.. Ладно, ступай и пошли ко мне Аристарха.

– Он на службу ушел.

– Он-то на службу ушел! А ты, балбес, шататься будешь целый день? – Голосок у неподвижной, немощной бабушки был еще крепкий, и это единственное, что не было еще утрачено от долгой болезни. – Сейчас ступай за стол, а потом иди помогать Надежде Александровне. Скоро Алеша приедет, а комнаты для детей не готовы... Но разговор не окончен. Вечером придет Аристарх на ужин – зайдете ко мне.

– Есть, Полина Михайловна! – козырнул Кирилл, но бабушка не приняла шутки.

Город оказался небольшим, но густозаселенным, как многие города в дальнем Подмосковье. Для знакомства Кирилл купил туристскую карту, присел в сквере на скамейку и стал отыскивать учебные заведения. Педагогический институт он отмел сразу, поставив на карте крест. Возле танкового училища было общежитие историко-филологического факультета – рассадник курсантских и офицерских невест. Кто брал себе жен оттуда, называл общежитие институтом благородных девиц; кто испытывал несчастную любовь, разочарование и измену, называли серпентарием, а девушек – очкастыми кобрами и гремучими змеями. Ну а на безразличный случай, как у Кирилла, студенток ИФФ именовали просто «ифуфуньками», общагу же – монастырем. Пренебрежение обычно возникало из-за ранней безответной любви. На первом году учебы Кирилл пришел на танцевальный вечер, который устраивался в хоккейной коробке между общежитием и казармой. И сразу же встретил Таню. Тогда он еще не ведал, что такое ифуфуньки, и как всякий насидевшийся в неволе и накопивший в себе мощную энергию и жажду любить, особенно не избирал «предмет любви». Он был готов влюбиться в кого угодно, лишь бы был внешний женский образ – остальное дорисовывало буйное воображение. Он был как кумулятивный снаряд, выбрасывающий при взрыве направленную струю, способную прожечь лобовую броню. А Таня была старше Кирилла на три года и повидала уже эти стрельбы, и уверовала в собственную неотразимость. Кирилл же после суворовского был еще дохловат и сутул; она же, обласканная голодными взглядами, цвела и в самом деле казалась божественной. Аксиома: женщина прекрасна, если ее любят... И взрыв очередного снаряда ей был забавным. Таня пофлиртовала с Кириллом, повертела ему «динамо» и очень трогательно распростилась, чтобы оставить в нем долго незаживающую рану. Однако рана эта затянулась очень быстро, а на ее месте появился шрам – равнодушие и презрение ко всем ифу-фунькам без разбора. Он больше не появлялся в хоккейной коробке никогда. А спустя два года курс Тани был выпускным, и был прощальный вечер на территории училища, вроде бы устроенный стихийно, из чувств давней дружбы между общежитием и казармой. Однако умысел сквозил во всем: от легкомысленных нарядов «умненьких» ифуфунек до развлекательных игр, когда королева бала венчала лучшие танцевальные пары и уже нельзя было расставаться до конца вечера. Просто у девчонок с ИФФ были те же проблемы, что и у курсантов-выпускников: зашлют в глухую деревенскую школу, а там можно и спиться и удавиться с тоски...

Таня была на прощальном вечере, Кирилл же сам напросился в наряд по парку, хотя мстительное чувство подмывало явиться в клуб, покрасоваться там и исчезнуть. Сам того не ведая, он таким образом спасался от собственного цинизма, который уже вызрел, как чирей на поясице. К тому времени он уже много что познал: и то, что подобные вечера устраиваются по официальной договоренности ректора университета и командования, и что общежития вузов с преобладающим женским населением специально строят возле казарм военных училищ, и таким образом решается не проблема семейного счастья и счастливых встреч, а обыкновенная кадровая политика, ибо в глухих гарнизонах некому учить детишек. Кто-то неведомый и все-

могущий программировал его, Кирилла, жизнь, и в протест этому хотелось стихии, случайности и судьбы...

И сейчас он лишь выбирал направление, запускал стрелу, как некогда Иван-царевич, чтобы отыскать свою Царевну-лягушку.

Единственным женским вузом в городе оставался фармакологический факультет – отделение Московского мединститута. Кирилл внутренне посмеялся: опять сочетание букв «ФФ», но мысленно назвал воображаемых невест «аптекарями». В городах он ориентировался увереннее, чем в лесу, и довольно скоро разыскал кирпичное одноэтажное здание факультета. Хотя и была пора экзаменов, однако вокруг было пусто, и если передвигался народ, то в основном на стадион, где был устроен грандиозный рынок-толкучка.

Хоть и не удалась авантюра, но он так любил ее дух, ее загадочность и непредсказуемое развитие событий и потому, ничуть не смутившись, ринулся в гущу рынка. Девушек тут было множество, и торгующих, и покупающих, и просто гуляющих между фирменными палатками и рядами, плотно замкнувшими сложным лабиринтом беговую дорожку и футбольное поле. Обилие «красного товара» ничуть не смутило опытного «купца», и глаза его вовсе не разбегались; всевидящим зрением танкиста он охватывал пространство впереди себя, и точнейший инструмент – глаз должен был вовремя сработать на ту Единственную, как писали в брачных объявлениях. Только выпускники духовной семинарии перед принятием священного сана да круглые идиоты хватают первых встречных и тянут в загс. Первые делали это из боязни остаться холостым, а значит, принять монашество; вторые от великой лени либо полной апатии.

Кирилл сделал несколько разворотов по бывшему футбольному полю, затем поднялся на трибуны, тоже приспособленные под торговые ряды, боковым зрением он отмечал, что девушки обращают на него внимание, а еще некоторые молодые люди со стреляющим взглядом изредка спрашивают «ствол» и тут же исчезают. Только глаз Кирилла оставался спокойным и равнодушным, кумулятивный снаряд ржавел в кассете.

Полуденный зной припекал плечи, парадный мундир и фуражка с высокой тульей, сшитая на заказ и утепленная, становились лишними, и предательский пот уже начал щекотать виски. Кирилл покинул рынок и медленно побрел тенистым тротуаром. Здание факультета, похожее на казарму, по-прежнему оставалось пустым, видно, аптекарями были уже на каникулах. Счастье в белом халатике, наверное, где-нибудь загорало либо трудилось на родительской даче. По дороге ему попался Институт вакцин и сывороток. Огромный серый корпус на целый квартал хоть и был украшен в сталинском стиле колоннами и скульптурами на крыше, но выглядел мрачно и чем-то напоминал рейхстаг. Редкие прохожие, словно тени, проплывали мимо и не задерживали взгляд Кирилла. Он ничуть не расстраивался, не приходил к мысли, что слоняется зря, ибо все это являлось выражением воли судьбы.

Часам к трем он наткнулся на летний гриль-бар под открытым небом и решил пообедать. Взял курицу на бумажной тарелке, сок в таком же стаканчике и встал за столик к девушке, хотя были свободные столы с сидячими местами. Поглядывая на нее, он молча ел и даже не помышлял о знакомстве. Просто искать знакомств, брать телефончики и адреса – развлечение; ему же нужно было искать невесту, и тут не до развлечений. Но вдруг ему стало невероятно смешно! После богатой посуды Аристарха Павловича и Полины Михайловны есть и пить с бумаги под тряпичным грибком среди улицы – вот это был контраст!

– Что это с вами? – спросила девушка серьезно и заинтересованно.

– Что это с нами?! – давась от смеха, проговорил Кирилл. – С нами что?! Посмотрите, все вокруг бумажное! Все временное! Все одноразового пользования! Жизнь становится как шприц: ввел инъекцию и выбросил. Вам не смешно?

– Нет, – сказала она. – Мне очень удобно. И без проблем.

– В смысле не надо мыть посуду?

– Ну разумеется!

– А вот есть такая посуда, которую приятно мыть, – сообщил Кирилл.

– Не может быть, – уверенно сказала она. – Разве солдатские котелки...

Это он принял как оскорбление, но невозможно заметил:

– Солдатский котелок – вещь долговременная, мыть его тоже приятно. А вот серебряную посуду, которой лет сто или даже больше, – это нужно испытать.

– У меня есть время, мы можем немного погулять, – вдруг сказала девушка.

– К сожалению, я занят, – с удовольствием заявил он и отработанным движением установил фуражку на голове. – Честь имею!

И, круто повернувшись, пошел прочь. Он представлял, как ей сейчас неуютно, мерзко, и думал: «Это тебе за котелок. И за бумажные тарелки». Наверное, и она что-то мысленно говорила ему вслед, обзывала «сапогом» или еще как-нибудь, и это было естественным заключением временной, одноразовой жизни.

Все-таки она испортила Кириллу весь дальнейший поиск. «Чуткий и точнейший инструмент» больше замечал асфальт, чьи-то шаркающие ноги и мусор на тротуарах, а сам он, зацепившись мыслью о сиюминутности жизни, забывался и не мог сосредоточиться. Ему становилось неуютно в такой бумажно-беспроblemной жизни, хотя он никогда не придавал этому значения. Помнится, еще в суворовском, когда их повели на первые стрельбы и выдали по три патрона, он сжимал их в кулаке и думал, что в каждом этом изящном, остроносом предмете заключена невероятная сила, сейчас укрощенная и находящаяся в покое. Стоит загнать патрон в патронник, передернуть затвор и надавить на спуск, стоит бойку разбить капсюль, и сила эта мгновенно вырвется наружу! А потом, в училище, на первых стрельбах из танковых пушек, он точно так же смотрел на снаряды – красивые, влажно-блестящие, с любовью изготовленные механизмы, в которых законсервирована огромная разрушительная мощь. И вот теперь навязчивое ощущение одноразовости жизни напоминало ему существование такого снаряда. Жизнь эта была вроде бы и красивой, блестящей и довольно сложной по внутренней начинке, но постоянно висела на волоске и как бы зависела от чужой воли – от некоего бойка, разбивающего капсюль. Удар – и все! Снаряд разлетелся на свои три составляющие: сначала сгорит пороховой заряд, обратившись в дым, потом, пройдя по крутым нарезам, вылетит начиненная взрывчатым веществом его голова и, наконец, отлетит тело – пустая стреляная гильза.

Он много раз слышал, что жизнь солдата в современной войне – это примерно двадцать семь секунд боя, а жизнь младшего офицера – в два раза больше. Кто-то исследовал, промоделировал, рассчитал... Кирилл же внутренне противился такой судьбе, душа протестовала и властно требовала – жить. Жить! Жить!! Не хочу обращаться в дым! И он, разумом понимая предопределенность жизни снаряда, вторил ей – хочу просто жить, как живет трава. Хочу испытать полный круг от первого весеннего ростка, пробивающего почву, до полного увядания глубокой осенью... И чем больше он замечал вокруг себя примет и знаков этой одноразовой жизни, тем жестче становился протест и из своей неосознанной, интуитивной формы обращался в словесную, когда можно сказать:

– Не хочу есть из бумажных тарелок. Хочу есть из серебряной посуды, которой уже больше ста лет.

Размышляя таким образом, он давно потерял ориентиры и шел, сворачивая с одной улицы на другую. И неожиданно понял, что снова заблудился, на сей раз в городе. В этот момент все и произошло...

Кирилл огляделся, чтобы найти табличку с названием улицы, и вдруг ощутил легкий толчок под ложечкой: по пустынному тротуару шла девушка. И не было в ней ничего такого особенного, что могло бы приковать взгляд и возбудить волнение: неброская сиреневая майка, скрывающая фигуру, собранные в пучок волосы на затылке, сумочка на тонком ремешке. Разве что изящный профиль лица, словно выведенный одной линией, и чуть впалые щеки...

Кирилл мгновенно взял себя в руки, ибо лишь кретины и первогодки стоят с разинутым ртом, когда в душе екнуло. Авантюра, кроме этого первого сигнала, имела еще много обязательных условий. Он догнал девушку, прошел за ней метров сто и спокойно спросил:

– У вас есть с собой паспорт?

– У меня есть газовый баллон, – не оборачиваясь, четко проговорила она и сунула руку в сумочку.

Кирилл забежал вперед, приставил кулак к своему рту и скорчил гримасу. Сказал гугниво:

– А у меня – противогаз!

Она остановилась и рассмеялась:

– Двадцать копеек! За шутку.

Кирилл протянул руку.

– Ну, не так же буквально! – сказала она.

– В век рынка за все следует платить, – отчеканил Кирилл.

– У меня таких денег нет!

– В таком случае у вас есть паспорт. Он лежит в сумочке.

Она не испугалась, хотя в глазах появилась настороженность.

– Зачем вам паспорт?

– Я авантюрист, – сказал Кирилл. – Разве не заметно?

– Мне это нравится. – Она обошла Кирилла и независимо застучала каблукками. – Что, новый род войск?

– Нет, я танкист!

– Это похоже...

– Но по складу нормальный авантюрист!

«Только не бойся, – мысленно проговорил он. – Это же шутка. Если испугаешься, я сейчас же уйду. Ну не бойся!»

– В чем смысл авантюры? – спросила она. – Оставить мой паспорт в залог и получить крупную сумму?

– Нет, вы скажите: есть паспорт или нет?

Она достала из сумочки паспорт, махнула у Кирилла перед носом и снова спрятала.

– Прекрасно! – воскликнул он и заступил ей путь. – Теперь слушайте внимательно: согласны ли вы стать моей женой? Не спешите отвечать, у вас времени – одна минута. – Он стал вертеться перед ней. – Вот я анфас. Вот – в профиль. Волосы русые, глаза, как видите, зеленые. Так, что еще? Да, рост – сто восемьдесят восемь. Вес надо?

– Обязательно!

– Семьдесят два!

– Прекрасный вес.

– Итак, таймер включен, время пошло!

Она сдерживала смех. И то, что она вот так может рассмеяться в первую минуту знакомства, нравилось ему.

– Вопрос можно? – спросила она.

– Да! Время идет!

– Мои... данные вас не интересуют?

– Абсолютно. – Он смотрел на часы. – Я все вижу. Особое зрение... Итак, согласны ли вы...

– Согласна, – сказала она.

– Думайте, еще семнадцать секунд...

– Согласна.

– Думайте, вам говорят! – прикрикнул он. – Потом поздно будет!

– Ну согласная я, согласная! – взмолилась она и прищурилась. – Только с одним условием...

– Слушаю.

– Весь сегодняшний день, вернее, остаток дня и всю ночь вы проведете со мной, – отчетливо выговорила она, тая смех.

– Любопытный вираж. – Он сдвинул фуражку и почесал затылок.

– Вы что же, хотите жениться на мне сейчас? Вот прямо на асфальте?

– Допустим, не на асфальте, но, как я слышал, женятся вроде бы в загсе, – сказал Кирилл. – А еще нам на уроках рассказывали, что сначала нужно подать заявление. И потому обязательно нужен паспорт.

– Увы, в загс мы уже опоздали, – заявила она. – Как нам рассказывали, там до обеда принимают заявления, а после обеда – расписывают. В нашем городе такой порядок.

– Ну и порядки в вашем городе...

– Так вы принимаете мои условия?

– А куда же мне деваться?

– Очень хорошо, – подытожила она. – И утром, если вы не сбежите от меня, ведите в загс. Так и быть.

Он отступил от нее и придирчиво осмотрел:

– Какая таинственная незнакомка... Давай теперь познакомимся, а таинственность оставим. Тебя как зовут?

– Нет, суженый-ряженный, – возразила она. – Давай все оставим до утра.

– У тебя определенно диктаторские задатки, – определил Кирилл. – И каблучки очень острые.

– Вот видишь, а ты заспешил в загс. К утру, может быть, тебе еще что-то не понравится...

– К тому же еще и мудрая, как змея!

– Но по гороскопу я Собака, – призналась она. – А хотела бы быть Змеей!.. Собака и Водолей, а ты?

– А я Кабан и Танкист! – засмеялся он, но тут же спохватился, пожалел: – Бедная, несчастная бабушка Полина! Знаешь, вчера мы с Палычем пропьянствовали всю ночь, даже немного постреляли. Сегодня вообще ночевать не приду!.. Ладно! – Он взял ее руку и завел под свою, левую. – Запомни свое место. Ходить со мной положено только слева.

– Слушаюсь, мой лейтенант! – серьезно сказала она и повела его за собой. – Теперь вперед. У нас будет очень много дел!

Кириллом уже овладела безрассудность стихии, и он был готов, как жеребенок, мчаться по улице, высоко подбрасывая ноги...

В то же утро Аристарх Павлович принял объект под охрану, выдал ключи от помещений, наскоро проверил пожарную безопасность на складе сухих кормов и, запершись в сторожке, запел. Опасаясь, как бы в голове снова не замкнуло, он вырабатывал в себе рефлекс, устанавливал прочную связь языка и мозга, которая якобы нарушилась из-за инсульта. Со своей бедой он дважды лежал в клинике, где Аристарха Павловича лечили электрическим током, иглоукалыванием, гипнозом. Ничего не помогало. Утраченная речь была как наказание за прошлую болтливость и суесловие. Ему не запрещали выпивать, и после болезни он несколько раз умеренно погулял и, может быть, еще тогда бы развязался язык, если бы в те гулянки пели песни. Их же давным-давно не пели, и Аристарху Павловичу даже в голову не приходил такой метод лечения. И вот свершилось!

Кроме возвращаемого дара речи, рождался у Аристарха Павловича новый, неведомый дар – дар голоса. И он удивлялся этому не меньше, чем слову. Раньше, случалось, пел и петь любил, особенно когда пешком или верхом на коне обходил и объезжал охраняемый участок

леса. Однако пел негромко, для себя, а если в компании – то хором и, по сути, никогда не слышал настоящего своего голоса. Теперь же Аристарху было смешно, что в нем столько лет жил втайне от хозяина такой мощный голосина! Ведь голосовые связки-то остались те же и разве что окрепли от долгого молчания. Перепев все песни, которые помнил, Аристарх Павлович взял газету и стал распевать тексты. И поражался тому, что мог делать с голосом все, что захочет: действительно, как Шаляпин, бесконечно долго, на одном дыхании мог тянуть одну ноту, довести ее до самого верха, а потом, уронив с горы, взять низкую. Если хотел, одну и ту же строчку пел весело, а потом трагично, так что у самого наворачивалась слеза. И голос при этом лился, колыхался, как знамя на ветру. Сидя в сторожке, Аристарх Павлович жалел, что не помнит романсов «Гори, гори, моя звезда» и тот, в котором знал строчки «Ночь темна, долина внемлет Богу, и звезда с звездой говорит». И еще очень расстраивался, что не умеет играть на гитаре. Сейчас бы вот отдежурил, а завтра явился к женщинам в теплицу, молча, как в последнее время, принес самовар, а потом бы взял гитару и дал такой концерт! Такой концерт! Чтобы Валентина Ильинишна слезами улилась от восторга и умиления. И утешался Аристарх Павлович тем, что многие романсы и песни можно было петь без музыки.

Дождавшись обеда, он побежал домой и с ходу предстал перед бабушкой Полиной: уж наверняка у старой библиотечарши были сборники песен и романсов! Но выпевать перед ней свою просьбу было как-то неловко, и он стал писать.

– Подойди ближе, Аристарх, – сказала спокойно бабушка Полина.

Он стал возле ее кровати.

– Еще ближе!

Аристарх Павлович приблизился к изголовью.

– Теперь наклонись... Наклони голову.

Он послушно склонился над старухой и ждал. Бабушка Полина погладила его по волосам и вдруг вцепилась железной хваткой. Пальцы ее показались жесткими и крепкими, как толстая проволока. Она несколько раз сильно трепанула Аристарха Павловича и, выпустив, оттолкнула голову.

– Понял, за что, Аристарх?

– Ага! – признался он, вытирая слезы.

– Теперь ступай на кухню, – велела бабушка Полина. – Надежда Александровна покормит. Этот недоросль все равно не явится к обеду.

Аристарх же Павлович показал бумажку со своей писаниной. Она сразу все поняла и ткнула своим побуревшим от старости пальцем на книжную полку:

– Второй ряд сверху. Смотри, томик в мраморном переплете...

Он стал переваливать книги на полке и наконец нашел нужный сборник, еще дореволюционного издания.

– Не потеряй, – предупредила бабушка Полина. – И гляди не испачкай.

Наскоро пообедав, Аристарх Павлович снова заперся в сторожке и стал учить романсы. Зубрил, как школьник, и тут же распевал куплет. И до чего же здорово получалось! Хотелось сейчас же убежать куда-нибудь в лес и попеть там во весь голос. И чтобы Валентина Ильинишна, оказавшись неподалеку, заслушалась бы, очаровалась пением и пошла бы на голос, одержимая страстью тайно подсмотреть, кто же этот тоскующий певец. А увидев, что это Аристарх Павлович, растрогалась бы невероятно, ибо не подозревала в нем, то болтливом, то молчаливом, такой талант. Ей бы стало немного стыдно, что она недооценивала его и часто проявляла равнодушие. Аристарх Павлович, не замечая таящейся за деревьями Валентины Ильинишны, ходил бы между древних дубов и богатырским, но страдающим голосом пел:

– Умру ли я, и над могилой гори, сияй, моя звезда!

И опирался бы рукой на дерево, ронял голову, словно сраженный в самое сердце. И была бы на нем ослепительно белая, с широким рукавом и узким манжетом, рубаха, вольно льюща-

яся по телу. Валентина Ильинишна бы не сдержала чувств и в порыве собрала бы цветы, которые попались под руку, вылетела к нему и вместе с огромным букетом припала бы на широкую грудь...

И они бы долго стояли молча.

Аристарху Павловичу захотелось немедленно достать где-нибудь такую рубаху или заказать, чтоб пошили. Но служба вязала по рукам и ногам: вроде и делать нечего до ночи, но никуда не уйдешь и не подменишься. К вечеру же этот пыл угас, ибо Аристарх Павлович прикинул, что к рубахе нужно обязательно черные брюки в обтяжку, возможно, кожаные и высокие, с мягким голенищем сапоги... И когда он таким образом придел себя и глянул со стороны, то самому стало стыдно: ведь это не Аристарх Павлович, а какой-то ряженный или вовсе тоскующий цыган.

«Недоросль», между прочим, не явился и к ужину. Бабушка Полина еще не паниковала и лишь строжилась, что нарушается домашний порядок. Она наказала Аристарху Павловичу, что, как только Кирилл появится, немедленно должен предстать пред очи. Независимо, в какой час ночи, поскольку она все равно не уснет, пока не увидит внука. Часов до одиннадцати Аристарх Павлович маялся на территории института – подвыпившему дежурному конюху нужна была компания для разговора, и он тянулся за ним, как хвост, пока не сломался и не свалился в дежурке. А к двенадцати, когда с конечной остановки у проходной ушел последний автобус, Аристарх Павлович забеспокоился. Ладно, что Кирилл убежал в город и забыл накопить травы жеребчику, наплевать, что вечером не выгулял его хорошенько по аллеям Дендрария – до утра постоит. Но то, что он не думает о своих домашних, – это никуда не годилось. Аристарх Павлович чуял еще и свою вину, что вчера устроил попойку, а сегодня результат – ночевать не идет. Если его прибрали в комендатуру, то это пошло бы даже на пользу. Но если он попал в какую-нибудь историю – в драку на танцплощадке горсада или в руки хулиганствующих молодчиков, – это худо. Военных-то теперь не любят в народе, никто и не заступится...

Ночью Аристарх Павлович сбегал домой в надежде, что «недоросль» мог войти в Дендрарий не через ворота, а где-нибудь через железный забор, но в комнате бабушки Полины горел свет. Надежда Александровна дежурила на парадном крыльце и была уже в панике. Бабушка Полина по-прежнему сохраняла выдержку и спокойствие, а поскольку телепрограммы кончились, то слушала по приемнику какую-то зарубежную волну... У Аристарха Павловича защемило сердце. Почему-то в его воображении вставали картины нападения на Кирилла. Некие злодеи, подкараулив его, сбивали с ног и зверски пинали ногами. Он начинал даже видеть, как все это происходит, как Кирилл, пытаясь увернуться от ударов, катается по земле, как, стараясь встать, царапает руками асфальт, а они, сволочи, с холодно-спокойными лицами бьют и бьют... Он уже был уверен, что так все и случилось, и только не мог своим воображением определить место, где бьют Кирилла. Иначе бы уже сорвался со службы, прихватив с собой казенную одностволку с патронами. И уже бы в упор расстреливал этих шакалов, бил бы прикладом и втапывал в землю!

И без того он несколько раз порывался словить припоздального таксиста или частного, проскочить по улицам города, но, как назло, у конечной остановки и на прилегающих улицах не было ни одной машины. Потом он сел на телефон и начал звонить в комендатуру, в милицию и в приемные больниц. К счастью, лейтенант Ерашов никуда не попадал и ни в каких происшествиях участия не принимал.

С рассветом же, когда рассеялись ночные воображаемые картины, он думал уже о лихой расправе. «Только явишься домой, я тебе устрою баню! Штаны спушу и выдеру при бабушке Полине! Твоим же парадным ремнем!»

Бабушка Полина так и не уснула, и теперь, когда смолкли ночные птицы на радиоволнах, она читала восточный гороскоп. К предложению телесного наказания она отнеслась очень холодно.

– Не смей и пальцем тронуть! Ума еще нет, но он все-таки офицер. А внушение сделай строгое!.. Хотя ты после пьянки не имеешь морального права.

Первый раз за последние дни он побежал на утренний кросс вдвоем с Ага, и хоть недолгим было время сотоварищества, а вот успел привыкнуть и прижиться к Кириллу так, что сейчас томился от одиночества и покрикивал на жеребчика, словно он был во всем виноват. Норовил бегать по центральной аллее, рассчитывая встретить «недоросля» и по-мужски, без свидетелей, спеть ему арию о почитании родителей. Но потому, что время шло, а Кирилл не появлялся, Аристарха Павловича начинало охватывать чувство беды. Утром-то всяко должен явиться! Даже если прогулял, прочертотмил ночь. У любого честного человека есть утреннее ощущение вины и желание покаяться. Значит, что-то случилось.

Вместо купания Аристарх Павлович остался в дубраве неподалеку от ворот Дендрария. Если сейчас вернуться домой, то, значит, посеять панику у сдержанной бабушки Полины. Она наверняка думает, что Кирилл сейчас с ним, и следовало максимально продлить это ее заблуждение. Тревога нарастала, а тут еще за кронами деревьев, на горизонте, набухла черная грозозная туча и медленно гасила солнечное утро. В лесу становилось темновато и мрачно. Жеребчик, предчувствуя грозу, жался к Аристарху Павловичу, и стоило тому остановиться, тут же прижимался к его спине, и было ощутимо, как подрагивает его тонкая кожа. «Ох, сейчас вдарит! – чувствуя озноб, подумал Аристарх Павлович. – Ну, наломает дров!» Жеребчий страх, словно ток, передавался ему, по спине бежали мурашки, холодило затылок. И это ожидание удара напоминало ожидание выстрела в спину, ибо за плотными кронами деревьев не было видно тучи и, естественно, молнии. Ветер уже гудел в вершинах, осыпая на землю свежие листья и мелкие сухие сучья, когда на земле, у подножий исполинских дубов не слышалось и дуновения. Над головою уже проносилась буря, и тем она казалась страшнее, что Аристарх Павлович не испытывал ее на себе, а как бы наблюдал со стороны. Казалось, небо может расколоться в любое мгновение, и потому как этого не происходило, создавалось впечатление, что над головой накапливается огромная сокрушительная сила. Дубрава стояла на самой вершине холма – довлеющей высоте в окрестностях, и здесь чаще всего молнии доставали землю. Почти на всех деревьях с давних пор стояли громоотводы – зеленые от времени, медные шины спускались из крон по стволам и исчезали между корней. Но год назад за одну ночь кто-то посрыпал их и увез в неизвестном направлении: медь вдруг стала цениться чуть ли не на вес золота. Грешили на Николая Николаевича Безручкина. Будто старик Слепнев, дежуря в теплице, видел и въезжающий в Дендрарий «КамАЗ», и самого Безручкина и, разболтав это по пьянке, потом хранил упорное молчание. И вот теперь дубы стояли без всякой защиты перед молнией, уже занесенной над вершинами. Незримый громовержец, оседлав черно-зловещую тучу, вскинул огненное копьё и теперь лишь выбирал цель...

Аристарх Павлович инстинктивно вжимал голову в плечи, жеребенка уже потряхивало, а грома все не было. Нечто подобное он испытал много лет назад, когда Дендрарий еще был в ведомстве лесничества и Аристарх Павлович все лето бродил по окрестным лесам в поисках рассеянных и одичавших саженцев канадского клена. Ходил безоружный, с одной саперной лопаткой, подвешенной к поясу. И наткнулся на браконьеров, знакомых мужиков, разделывающих лосиную тушу. Вроде бы и разошлись полюбовно, без взаимных угроз – ну, попались и попались, не повезло, придется штраф заплатить, однако, уходя, Аристарх Павлович ощутил, что в спину ему смотрит ружейный ствол, и ведет его по лесу, и ждет только момента, чтоб свалить, как лося. Тогда спасла саперная лопатка: свинцовая пуля расплющилась о металл, и на спине остался лишь огромный синяк. Он упал на четвереньки и, как с низкого старта, рванул по кустам, петляя, как заяц. Эти мужики ходили потом к нему несколько месяцев, детей приводили за руки, жен и матерей. И пришлось Аристарху Павловичу не то что в суд подавать, а и браконьерство скрыть, ибо одно напрямую связывалось с другим.

И теперь, вспомнив этот случай, Аристарх Павлович расслабился, выпрямился и оттолкнул жеребенка.

– Тиимать!

А чтобы не бояться больше, пошел под Колокольный дуб и запел любимый романс, слова которого только что выучил:

– Гори, гори, моя звезда! Звезда любви приветная! Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда!

Тут и грянул гром! Рвануло так, что земля дрогнула и жеребчик присел на задние ноги, заржал, словно подстреленный. Аристарх же Павлович, защищенный теперь силой своего голоса и рвущейся из груди страсти, лишь наддал:

– Звезда любви, звезда волшебная, звезда прошедших лучших дней. Ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей!

Ему было все равно, слышат его, видят ли. Он выметывал из себя накопленную многолетнюю тревогу и вечные страхи то за дочерей своих, пока они росли, то за больную жену, за все несчастья знакомых, за лошадей-доноров, за лес, за жеребчика, – он не хотел больше жить с вечным ожиданием грома или выстрела в спину. Душа требовала воли и какой-то веселой, безоглядной жизни.

## 4

Она вела Кирилла переулками, проходными дворами, через детские площадки и стоянки автомобилей и наконец затащила в подъезд старого облупленного дома с широкими гулкими лестницами, с дверями, униженными кнопками звонков, как черными тараканами. Он ничего не спрашивал, а она торопила, семена по ступеням:

– Опаздываем! На семь минут!

Кончились этажи, и кончилась лестница. Она в полутьме рванула оббитую железную дверь на чердак и уверенно повлекла Кирилла за собой по темному коридору, заставленному досками, рамами и какими-то деревянными инструментами. На ходу она ткнула невидимую кнопку выключателя, и впереди загорелась тусклая лампочка.

– Сюда! – Она остановилась перед дверью, истерзанной много раз меняемыми замками, постучала. Послышались торопливые, шаркающие шаги, дверь отворилась. За нею был худощавый старик с небольшой клочковатой бородой и старательно зачесанной лысиной – петушинный гребень стоял выше лба! Живописно уляпанный разноцветной краской фартук, в руках тряпка, кисти, и от всего – резкий запах скипидара.

– Опаздываешь, – сказал он. – На семь минут. И заставляешь меня ждать.

Он не обратил внимания на Кирилла, не заметил его, как не замечают привычных старых знакомых. Они вошли в помещение с высоким косым потолком и единственным большим окном в полстены. Это была художественная мастерская, довольно просторная, однако же заставленная пачками полотен, старинной, полуразрушенной мебелью, а на стенах по всему периметру висело множество картин, писанных маслом, акварелью, и просто карандашных рисунков, оправленных в хорошие рамы, но на всех был изображен этот старик художник: разного возраста, в разных костюмах и позах. Под невысокой антресолю, которая тоже была забита полотнами, подрамниками и гипсовыми слепками, стояла широкая деревянная кровать, застеленная белым, в узорных разводах, атласным покрывалом. Это был самый чистый и опрятный уголок, поскольку во всей мастерской царил творческий хаос – кучи живописной газетной бумаги, о которую вытирали кисти, обрывки холста, выдавленные напрочь тубики и просто вековая искристая пыль.

Старик, словно блин со сковороды, выхватил из зубов мольберта недописанное полотно, задвинул его на антресоли и оттуда же вынул другое, большего размера. Кирилл, не показывая любопытства, озирался по сторонам: крутая достоевщина удивительно соседствовала с хорошей, насколько понимал Кирилл, живописью. Ниже галереи портретов художника висел ряд пейзажей, натюрмортов и интерьеров каких-то богатых комнат со старинной мебелью. И отдельно – портреты молодых женщин с милыми и фотогеничными лицами.

– Садись сюда! – приказала она Кириллу и подтолкнула к креслу с ободранной позолотой ручек. Кирилл скинул фуражку, снял мундир и по-свойски упал в кресло: жизнь надо воспринимать как воздух, ибо она так же естественна и необходима.

– Опаздываем! – снова напомнил художник. – Скоро изменится освещение, поторопись.

Кирилл поймал ее за руку, привлек поближе и прошептал:

– Сейчас я узнаю твое имя.

– Каким образом? – спросила она беззаботно.

– Он тебя назовет по имени!

– Не назовет, – бросила она. – Потому что не знает.

Старик тем часом возился с мольбертом, вставляя полотно, и не внимал их разговорам.

И здесь произошло то, что Кирилл никак не ожидал при всей своей фантазии и авантюристности настроения. Она вдруг единым движением сорвала с себя широкую маечку, ловко скинула туфельки и сдернула брючки из ткани-плащевки. И то, что было под брюками, – тоже...

Кирилл слегка задохнулся, сглотнул враз пересохшим горлом, но не потерял самообладания. Напротив, сузил веки и попытался равнодушно хмыкнуть, хотя в голове и груди все бурлило и требовало словесного выражения.

Он видел и не видел ее; он не мог оценить ни ее красивой легкой фигуры, ни стремительных и мягких движений. И чувств, закономерных при этом, он тоже не испытал, ибо не воспринимал ее сейчас как реальность. Она же, наверняка красуясь, а может быть, дразня его, неторопливо прошла к кровати под антресолю и не легла, а как бы положила свое тело. Так кладут драгоценность в футляр...

Силы изображать равнодушие еще были, но отвести взгляд от нее он уже не мог. Все окружающее – и достоевщина, и хорошее искусство – словно смазлось, обратившись в некий тоннель, в конце которого на белом покрывале лежала Она. Из этого состояния его вывел старик. Он закрепил-таки полотно в мольберте и с грохотом опустил его на нужную высоту. И только потом посмотрел на свою натурщицу...

А дальше произошло вообще невообразимое. Старик неожиданно упал на колени и сложил свои заляпанные краской руки, как перед иконой. Сердитость в его голосе враз пропала – что-то страстное и отчаянное услышал Кирилл в его сбивающемся громком шепоте.

– Какая ты прекрасная! У тебя тело светится!.. А грудка! Грудка... Боже мой, а живот... Прекрасная! Очаровательная! Божественная!.. Какая изящная линия! О!.. Мне же не написать тебя такой!

Это напоминало молитву – то ли святого, то ли великого грешника. Он стоял спиной к Кириллу, и тот видел его сморщенный затылок, ссутуленную спину и широко расставленные подошвы драных, заляпанных краской ботинок. А в голосе его уже слышалось исступление:

– Но почему же так?! Твое совершенство, твоя красота пропадут и исчезнут через два десятка лет! А моя мазня!.. Моя мазня останется на века? Ну почему так? Почему я так стар? Где мне взять силы... Где мне взять краски такие...

И вдруг он дернулся, протянул к ней корявую руку:

– Дай прикоснуться к тебе?! Дай?!

Она же молчала, совершенно не реагируя на мольбы и страсти полусумасшедшего художника. Она была неприступна, как если бы находилась в другом времени! А старик на фоне ее казался уродом, Кощеем Бессмертным, скупым рыцарем, чертом! И если бы сейчас он приблизился к ней и прикоснулся – прогремел бы взрыв! Ядерный взрыв, как от соприкосновения критических масс.

Пот давно уже щекотал виски и струился по горлу. Не дождавшись ответа, старик медленно осел, протянутая рука сломалась и коснулась пола. Но взгляд его оставался по-прежнему целеустремленным и каким-то нездоровым. И словно оберегая этот взгляд, как бокал, налитый вровень с краями, старик медленно встал с колен и, нащупав кисть, мазнул ее по палитрестолу и понес к полотну. Кирилл потянулся взглядом за кистью и только сейчас увидел, что на холсте...

Приступ незнакомого чувства – ревности, замешенной, как на палитре, со злостью и ненавистью, – вдруг охватил Кирилла; он забылся, стиснул кулаки, готовый наброситься на старика, сшибить его с ног, опрокинуть мольберт, все размазать, разметать, свалить в одну кучу и на все это исковерканное и разрушенное швырнуть ее! И чтобы ей было больно! Чтобы она измалась в грязи и краске. И чтобы не было больше этой красоты, вызывающей сумасшествие!

Он гасил в себе этот взрыв, он не давал неведомому бойку разбить капсуль и поджечь порох. Он давил себя за горло, не выпуская на волю крика, когда старик касался кистью ее изображения на полотне. А он касался! Он что-то там мазал своей корявой рукой! Он что-то хотел добавить к ее совершенству!..

Тогда он еще не осмыслил, что происходит в этот миг, и, одержимый чувствами, либо боролся с ними, либо давал им волю. Он, как челнок, переводил взгляд со старика на нее

и обратно. И видел не процесс творчества, сложный, малопонятный даже для посвященного человека, а зрел один общий порок, который связывал ее и художника. Он писал ее, потому что обожал женскую красоту, и вот, состарившись, превратившись в рухлядь, он продолжал любить женское тело и с маниакальной страстью пытался получить удовольствие, но уже иным, неестественным путем. А она, зная о том, что прекрасна, любила показывать свою прелесть, любила раздеваться и дразнить, наверное, всех подряд – стариков и молодых. Она любила восторг в жаждущих ее и бессовестных глазах. Она была пропитана этим пороком...

Но именно этот порок удерживал сейчас Кирилла в мастерской. Он словно опутывал его незримой паутиной и незаметно превращал в кокон. Она будто бы бессловесно говорила Кириллу: «Ты же не уйдешь. Ты останешься со мной. Да, я порочна. Но и целомудренна одновременно. Я никому не позволяю прикасаться к себе. И как же мне не раздеваться и не показывать всем свою красоту, если я на самом деле прекрасна и совершенна? А в мире этого так мало... Оглянись же кругом! Повсюду убогость, грязь и мрак. Теперь посмотри на меня! Видишь, какая несправедливость: оказывается, все прекрасное таит в себе порок...»

– Я больше сегодня не могу, – сказал старик и бросил кисти прямо в краску на палитре. – У меня отсыхают руки...

И, страшный, сгорбленный, с остатками волос, стоящих дыбом вокруг лысины, побрел к ширме в углу, за которой была раковина и журчала вода из неисправного крана. Он стал как-то нудно и долго мыть руки, швыряя длинным носом, будто всхлипывал от усталости и тоски.

Она же бережно поднялась с кровати и, улыбаясь одними губами, приблизилась к Кириллу, потому что ее одежда лежала рядом с ним, на сломанном вытертом стуле. Можно было протянуть руку и притронуться, и Кирилл едва удержался, вцепившись пальцами в ручку кресла. Ему словно кто-то подсказывал, что делать этого сейчас нельзя – разрушится целомудренность и она целиком опустится в порок, как в черную краску.

– Ты умница, – вдруг склонившись к его охолодевшему уху, прошептала она. – Ты мне нравишься...

Оброненный этот легкий шепоток пронзил его и еще туже затянул неисчислимые петли кокона. Он понял в тот момент, что никогда не сможет оставить ее, но и простить ей порока тоже никогда не сможет.

Она так же стремительно оделась и села на стул. Она устала! Она словно только сейчас закончила трудную работу и вот наконец разогнулась и присела, опустив безвольные руки и расслабив спину.

– Ставь чайник, – велел старик. – У нас есть немного времени...

Она включила электрический чайник и энергично стала выставлять из шкафа посуду, что-то искать там, трясти пакеты и кульки.

– А печенье у тебя есть? – спросила она. – Помнишь, в золотистой обертке?

– Кончилось печенье, – сказал старик и, вытирая руки, устался на Кирилла.

– Завтра купи обязательно, – наставительно произнесла она. – Я его очень люблю.

– Если пойду мимо овощного – куплю...

– Его что, в овощном продают?

– Я там брал... – нехотя бросил он, разглядывая Кирилла. – У молодого человека хорошее лицо. Порода чувствуется... Сильный парень... Твой, что ли?

Он говорил о Кирилле как о неодушевленном предмете.

– Мой, – просто ответила она. – А «Сникерсы» ты, конечно, съел сам?

– Съел, – подтвердил старик. – Я сегодня без обеда...

Он выбрал кисти из красок на палитре, снова вымазал руки и, вытирая их о фартук, вдруг предложил:

– Хочешь, я тебя напишу?

– Не хочу, – бросил Кирилл недружелюбно.

Старик ничуть не расстроился: чувства и страсти в нем улеглись вместе с красками, набросанными на полотно.

– Напрасно... Ты умрешь... Все мы умрем. А портрет останется. И ты будешь жить. Молодой, красивый...

– Зачем уговаривать, если человек не хочет? – как-то между прочим обронила она.

– Конечно, – тут же согласился старик и отступился от Кирилла.

Они переговаривались между собой, как два старых соратника, как много прожившие муж и жена, понимая больше, чем сказано словом. Они будто единожды и когда-то очень давно разобрались во всех истинах, создали из них некую стройную систему, и теперь, если что-то не вписывалось в нее, не отвечало требованиям и законам, попросту отбрасывали как ненужное.

Они будто условились о терминах, значение которых знали только двое. И, как считал Кирилл, в значении этом скрывался тот самый порок.

И не было основания придрачься к ним, резко возразить, бурно возмутиться. Напротив, он должен был радоваться тому, что так неожиданно и быстро познает ее, причем самую глубину существа, обычно тщательно скрываемую и почти недоступную.

Чаепитие было таким же стремительным, как раздевание. Она спешила, будто преступник с места преступления.

– Все, уходим! Уходим! Салют!

«Что еще? – гадал он на бегу. – Неужели может быть еще что-то?»

Полная непредсказуемость событий хоть и увлекла, но вместе с тем заставляла контролировать свое поведение и держала в напряжении, как будто он сдавал вождение в экстремальных условиях минного поля. Неосторожное движение фрикционом – и катастрофа...

На сей раз они ворвались в магазин, причем перед самым закрытием. «Все ясно, – решил он. – Сейчас начнутся семейные хлопоты – продукты на ужин и вино...» Однако «семейные хлопоты» начались неожиданно: она выбрала какие-то простенькие обои и банку обойного клея. Кирилл чуть не расхохотался, вспомнив утреннее задание бабушки Полины – клеить обои. Это был рок! Сегодня ему придется делать ремонт!

И было немного странно, что она, сиявшая своей порочной красотой, может еще заниматься какими-то хозяйственными делами. Кирилл втащил рулоны обоев и клей на четвертый этаж общежития с пустынными коридорами и пожалел, что вырядился в парадный мундир: со стороны в качестве носильщика он выглядел несуразно. Больше бы подошла пятнистая афганка, но авантюра есть авантюра!

Она открыла дверь одной из комнат, впустила Кирилла.

– Это наш фронт работ! – воскликнула она радостно. И вообще все на свете она делала с задором и азартом, и причиной тут была вовсе не встреча их с Кириллом: в радости ощущалась привычка.

Комната оказалась совершенно пустой, остались лишь следы от мебели, стоявшей на полу, да мусор покинутого жилья. И пузатая сумка в углу.

– Понял, – сказал Кирилл. – Ты получила эту комнату.

– Получила, да не эту! – засмеялась она.

И тут мимо! Чтобы больше не попадать впросак, он решил вообще ничего не спрашивать и не комментировать.

Она открыла сумку, выбросила на подоконник халат, тапочки, косынку, порылась в недрах и выдернула старенькую длинную майку.

– Тебе подойдет?

– Вполне.

– Тогда выйди в коридор, – попросила она. – Я переоденусь.

Это говорила она, менее часа назад стоявшая рядом с ним обнаженной, стоило протянуть руку... Он медлил.

– У тебя со слухом порядок? – Она скинула туфли. – Быстро!

Он вышел в коридор, закурил сигарету. Известные ходоки из училища сказали бы о ней так: «Космический корабль многоразового использования „Дюймовочка”». Но ему не хотелось думать, что она корчит сейчас из себя целомудренную девочку, хранящую себя для Единственного. Она выставила его в коридор очень естественно.

Буквально через минуту она открыла дверь:

– Входи! Снимай рубашку, натягивай майку. Обои клеил?

– Никогда!

– Порядок! – И этому она обрадовалась. – Клеить буду я, а ты намазывать клей и подавать.

Кирилл втащил из коридора стол и большой расшатанный табурет. Она расстелила газеты и стала нарезать обои по размеру стены, его же заставила отстригать кромку. И началась работа. Все получалось как-то ловко, стремительно, и он грешным делом начинал думать – уж не на стройке ли она работает? По его разумению, она клеила профессионально, уверенными движениями и без единой складки. Причем все необходимое – ножницы, тряпки, кисти, – все было заранее собрано в сумку.

– Из тебя получится хорошая жена, – совершенно непроизвольно похвалил он.

– Да? Я очень рада, что тебе нравится! – без всякой игры обрадовалась она. Эта несложная работа незаметно начинала сближать их. По крайней мере на бытовом, «технологическом» уровне они уже хорошо понимали друг друга: все делалось вовремя и точно, в четыре руки. Подавая первые полосы обоев, он невольно цеплялся взглядом за ее ноги, поскольку она стояла под потолком и подол халата был чуть выше его головы. К тому же волновал тонкий запах, исходящий от майки, в которую обрядился Кирилл, и все это мешало – руки делали одно, когда в голове происходило другое. Однако ее наставления, делаемые во время работы, скоро отвлекли его. Кирилл едва успевал намазывать клей, но, приловчившись, стал опережать процесс и стоял у стола уже с готовой полосой. И вот когда механизм приработался, как в часах, она неожиданно шатнулась на разболтанном табурете, потеряла равновесие и боком полетела на пол, причем без вскрика. Кирилл поймал ее машинально, принял на руки с обоейной полосой, как с пленкой, и, прижав к себе, спеленал, заклеил ее с головы до ног. Он встрепенулся от запоздалого испуга; она же вдруг рассмеялась и, прыгнув с рук, стала освобождаться, сдирать с себя обои.

– Из тебя получится хороший муж, – его словами сказала она. – Мне это нравится.

В тот же миг Кирилл понял, что падение это было умышленным, чтобы проверить его реакцию. Но до чего же опасным! Не успеет Кирилл подставить руки или вздумает скинуть обоев полосу, чтобы принять ее, она бы зацепилась ногами за стол и ударилась головой об пол. Риск был невероятный! Либо она была действительно блестящей авантюристкой, способной на самые крутые повороты, либо все очень точно просчитала, что мимо рук Кирилла не упадет.

Весь халат, ноги и косынка были измазаны клеем – а он был какой-то химический, засыхал быстро и не оттирался. Она же не расстроилась, махнула рукой:

– Темнеет уже! Потом!

И снова взобралась на стул и табурет.

Через полтора часа они обклеили всю комнату, и оставалось лишь обрезать кромку у потолка. Кирилл проголодался, жизнь по расписанию брала свое, и теперь, как часто бывало, он вспоминал время от времени когда-то недоеденный обед или просто вкусную пищу. И вспомнил, что в гриль-баре сегодня не доел курицу, поскольку надо было внезапно уйти от бумажно-временной соседки. А между тем курица была вкусная!

– Возьми в сумке опасную бритву, – приказала она.

– Сейчас бы не бриться, а закусить! – помечтал он. – У тебя в сумке сухарика не завялялось?

– Отлично! – засмеялась она. – У тебя естественные желания... Мне сегодня есть нельзя, а тебе что-нибудь найдем.

– Диета? – спросил он.

– Увы – нет! – вздохнула она (опять промах!). – Запретили есть. А вообще я люблю поесть!

– А мне – не запретили, – вздохнул он.

К одиннадцати часам комната сияла, и простенькие обои смотрелись строго и аккуратно. Будущая жена Кирилла домывала пол, а он, босой, стоял на чистом, курил и читал старые газеты, когда в дверь постучали. Она выскочила в коридор с половой тряпкой, и оттуда донеслось банальное девичье шушуканье. Во всем этом он уловил призрачное ощущение семьи, может быть, какой-то отзвук подобной будущей картины, очень бытовой, но естественной и приятной. Как будто они живут в гарнизонном офицерском общежитии, он пришел со службы, закурил, взял газету и ждет, когда жена домоет пол и соберет ужин...

Внезапно он поймал себя на том, что вот уже часа два как ни разу не вспомнил их недавний поход к старику художнику! Буря чувств и страстей бесследно пропала вместе с притягательным и отвратительным пороком, который Кирилл узрел в мастерской. Там была другая! А эта, с половой тряпкой в руках, измазанная клеем, и есть его будущая жена...

Ему стало отчего-то грустно. Жаль было расставаться с той, другой, порочной и целомудренной, бессовестно-обнаженной перед стариком, перед его блудливым и вместе с тем мудрым глазом. И одновременно влекущей к себе с такой силой и страстью, что Кирилл готов был разгромить мастерскую и посрамить ее!

Эта, шушукующаяся за дверью, была мила, обаятельна, но... не порочна. С этой хотелось ходить босиком по свежeweымытому полу, курить, читать газеты и ждать ужина...

Она заглянула со своим восторженно-деловым видом:

– Сейчас мы идем на реку купаться!

«А ужин?» – чуть не спросил он.

– Пока я домываю, девчонки сообразят что-нибудь поесть, – она угадала мысли. – Ты можешь одеваться!

Кормили Кирилла три ее подружки – рослые, приятные девушки подставляли ему бутерброды с маслом и консервированной килькой, кусочки мороженой ливерной колбасы, кабачковую икру, зеленый горошек; он молотил все подряд, и она сидела напротив и смотрела. И ей было приятно, как он хорошо ест. Сама же и чаю не попила, вдруг заторопила:

– Все! Уходим! Пока вода теплая!

К реке они шли переулками, мимо старых деревянных домов, которые в темноте все казались пустыми. На пути им неожиданно встретилась ее знакомая – рыжеволосая, яркая девушка. Они обнялись, защебетали – очень долго не виделись! Полтора года!

– Пойдем с нами! – захлебывалась от радости будущая жена. – Ночью вода теплая! И никого-никого нет!

Приводились какие-то причины, одна из них – нет купальника, но рыжей так и не удалось отвязаться. Они сбежали по травянистому берегу к воде, над которым белел широкий деревянный помост с лесенками и скамейками, поспорили, откуда лучше заходить, и решили все-таки купаться цивилизованно. Неподалеку от помоста чернел горбатый пешеходный мост, а на противоположной стороне реки, подсвеченная снизу прожекторами, стояла белая пятикупольная церковь с золотыми крестами. Ее отражение лежало на воде покойно, как в темном, старом зеркале.

Девушки начали раздеваться, а она склонилась к уху Кирилла и прошептала:

– Купание нудистское... Тебя это не смутит?

И, не дождавшись ответа, упорхнула к девичьей скамейке. Кирилл поставил сумку (ее велено было взять с собой), хмыкнул с ощущением удовольствия и стал снимать мундир. Нет,

та, *другая*, была здесь, с ним, и только сейчас вновь обнажила свой порок. Он не смутился, однако не хотел быть нудистом принципиально, ибо обнажение второй половины человечества воспринималось им как некое олицетворение природной красоты, гармонии и изящества, но если в женской компании оказался бы голый мужик, то все бы рухнуло, обезобразилось и ничего, кроме омерзения, не вызвало бы. Он выждал, когда девушки отплывут, размялся и наудачу нырнул головой вниз. В полной темноте он шел ко дну и не мог его достать. Казалось, прошло много времени, и закрытые глаза наливались кровью от недостатка кислорода – дна не было! Либо оно растворилось во мраке черной воды. Кирилл вынырнул и поплыл к девушкам. Их ненамокшие волосы (спускались по лесенкам) плавали на воде и в отблесках света с другого берега отливали одинаковым зеленовато-золотистым цветом...

Он понял, что потерял ее! Все четверо в ночных сумерках на реке были похожи, и даже та, рыжая, была неузнаваема...

А он плыл, чтобы, оказавшись с ней рядом, найти под водой руку и незаметно отвести ее от подруг.

– Посмотрите, кто к нам плывет! – воскликнула одна из девушек, вполне возможно, и она. – Это же мужчина!

– Мужчина! Мужчина! – с притворной угрозой заговорили остальные.

– Я – водяной! – крикнул Кирилл. – Я ваш царь! И повелитель!

– Это не водяной, это мужчина! Это не царь! – наперебой загомонили девушки. – Как он посмел войти в воду, когда настал наш час!

– Молчать! – рявкнул по-царски Кирилл. – Ракам скормлю! Хвосты отрежу! Из ваших зеленых косм веревок навью!

– Нахал! Как он смеет? Выдает себя за царя! А сам обыкновенный мужчина! Что сделаем с ним, русалочки?

– Крови хочется!

– Нет, я возьму его в мужья! – воскликнула одна, и Кириллу почудилось – она! Он метнулся к ней и вдруг близко увидел лицо – рыжая!

– Топи его! – крикнула рыжая. – Мужа хочу! Топи!

И остальные набросились на Кирилла со всех сторон, обвили ногами, уцепились руками за шею, за голову... и стали топить!

Он сопротивлялся вначале для игры и даже поддавался множеству насевших на него тел, и ощущал кожей холодные, не будоражащие сознание обнаженные груди, знобящие, крепкие бедра – где-то среди всего этого волнующего кольца были ее груди, ее бедра... Он барахтался, отбивался руками; они же, не стыдясь и не опасаясь его блудливых рук, не отпускали, погрузив с головой свою жертву.

Через полминуты он понял, что не вырваться и что это игра, потерявшая свой смысл, еще миг, и он хлебнет воды! Глаза полезли из орбит, тело и руки потеряли всякую чувствительность, и ничто, кроме жажды жить, не трогало сознание. В мозгу же застряло единственное слово – «жалко» – невесть чего и почему...

А они визжали и смеялись над его головой. И топили...

Неожиданно это «жалко» вылетело из головы, и на его месте горячим шкворнем впиалась в мозг единственная мысль – утоплю! утяну за собой! И обратившись в тяжелый камень, он сам пошел ко дну. Руки и ноги вмиг разжались, и Кирилл, освобожденный от пут, еще какое-то время шел вниз и ступил на дно! Резко оттолкнувшись, он вылетел из воды – девушки с визгом расплывались в разные стороны. Ни острить, ни шутить он не мог, и чтобы как-то взбодрить себя, он перевернулся на спину, сделал несколько глубоких вдохов и поднял руки к тусклым городским звездам.

– Гори, гори, моя звезда, – фальшиво спел он. – Звезда любви... приветная!

– Ты у меня одна заветная! – отозвался узнаваемый Ее голос. – Другой не будет никогда!

Она подплыла к нему, а точнее, под него, взяла его под мышки, как изображают на плакатах по спасению утопающих, и потянула к берегу. Девушки оставались посередине реки и, похоже, начали играть в догонялки. Она же трелевала его к берегу, и Кириллу ничего не оставалось, как повиноваться ее рукам и петь. Он не мог сейчас признаться, что ему было плохо, что его и в самом деле чуть не утопили. Стыдно признаться! Пусть она думает, что у него просто лирическое настроение от тихо мерцающих звезд...

Возле помоста он развернулся, взял ее за талию и приплавил к лесенке. Они поднялись молча. Сейчас она не стеснялась Кирилла, стремительно и точно открыла сумку, выхватила оттуда махровую простыню и, прижавшись к нему, накинула ее на головы. И сразу стало тепло, и тело ее, влажно-холодное, мгновенно погорячело.

– Ты умница, – прошептала она. – Ты совсем не похож на военного... Но если ты меня завоюешь совсем, я буду счастлива.

Кирилл ничего не нашел ответить ей и после паузы тоже шепотом спросил:

– Твоя рыжая... подружка? Она не косоглазая?

– Разглядел! – усмехнулась она с легкой ревностью, но тут же спросила озабоченно, глядя на воду: – Почему ты спросил? Зачем?..

«Русалочки» купались в отражении церкви на воде, весело, со звоном разбивали его, и белые осколки, расплываясь, колебались на волнах.

– Мне показалось, что она – косоглазая...

– Она действительно... косоглазая. – Тело ее вдруг похолодело, и Кирилл ощутил, как по ее коже побежали мурашки. – Мне же говорили! Меня предупреждали!

Она сдернула простыню и торопливо начала одеваться.

– Уходим! Быстро! Пока они в воде!.. Боже мой, меня ведь предупреждали! Как же я?.. Ведь чувствовала!.. Как ты заметил?.. Полтора года не было, и именно в эту ночь нарисовалась! Мне же говорили!

Впервые в ее голосе Кирилл услышал отчаяние. И в этом же голосе звучало предупреждение – не сочувствуй мне! Не говори никаких слов! Я сама! Я все сама! А за подсказку, за твое зрение – спасибо! Ты меня выручил. Ты спас меня!

Они снова спешили по ночным деревянным кварталам без единого фонаря и без света в окнах. Из-под ног неожиданно с визгом вылетали невидимые коты, и она всякий раз с испугом прижималась к Кириллу. И всякий раз повторяла непривычную для его слуха и ее языка фразу:

– Боже, помилуй! Боже, помилуй!

Он уже привыкал ничему не удивляться...

Кирилл рассчитывал, что они вернутся в общежитие, но скоро оказался перед кирпичной «хрущевкой», возле двери с кодовым замком.

– Я не запомнила шифр, – призналась она. – Не успела запомнить... Ты сможешь открыть?

– С помощью лома можно открыть даже танковый люк, – сказал Кирилл.

– А без лома?

Кирилл осмотрел кнопки замка, наугад набрал несколько чисел – гиблое дело, можно стоять до утра и перебирать варианты. И тут его осенило!

– Поедем ко мне! Я тебя познакомлю...

– Нет! – отрезала она. – К тебе я смогу поехать только утром. Открывай замок!

Еще один экзамен! «Если ты меня завоюешь совсем...» Открывать его нужно с блеском, элегантно, как профессиональному «медвежатнику». Только не стоять и пыхтеть, не тыкать пальцем в небо: с каждым промахом теряется шанс на победу...

Он осветил кнопочный блок зажигалкой – тупые, невзрачные бочонки с цифрами, тупая и потому неприступная конструкция. Кирилл погасил огонек и зажмурился. Запечатленный зрительной памятью, замок стоял перед глазами... И в нем что-то было не так! Матовый блеск

пластины и строгие ряды кнопок имели неуловимый пока изъян в своем однообразии. Кирилл еще раз осветил замок, поднес зажигалку вплотную к пластине и понял, в чем дело: вокруг трех кнопок были едва заметные пятна грязи, видимые только в косом свете. Глаз – инструмент потрясающий!

– Запомни цифры: три, пять, восемь, – сказал он буднично. – И чтобы больше не забывала.

– Три, пять, восемь, – повторила она. – Теперь запомнила.

Он нажал кнопки – в замке послышался щелчок, дверь отворилась.

Она хоть и мимоходом, но оценила это – едва коснувшись губами его щеки, ступила за порог и стала отсчитывать каблучками ступени. Кирилл на всякий случай готовился к встрече с ее родителями либо с кем-то из домашних, да, к счастью, в маленькой двухкомнатной квартире оказалось пусто. Она впустила его в небольшую комнату и с нескрываемой гордостью сказала:

– Это мой дом, частная собственность.

В стенах своего дома она опять изменилась – ее тянуло к бытовой откровенности и домашним хлопотам. Заметно было, что переехала она сюда недавно и не успела еще разгрести переселенческий хаос.

– Приданое, скажем, небогатое, – изображая рачительного жениха, сказал Кирилл. – Скажем даже, бедненькое. А если уж говорить правду, беру я в жены бесприданницу.

– Нахал! Я целый миллион заплатила! – почти серьезно заявила она. – Все, что можно, продала, в долги залезла... Мамины золотые часики так жалко! Теперь мне чудится, что они тикают где-то в этих стенах.

– Комната в общежитии у тебя была очень хорошая, – заметил он. – И мамины часики остались бы на ручке.

– Я совсем не могу жить в общежитии, – с какой-то застарелой, но уже излеченной болью сказала она. – Я даже этого слова боюсь.

– А соседи тебя не смущают? В одной квартире? Коммуналка еще хуже общаги, – со знанием дела сообщил Кирилл. – Она обманывает человека, она создает иллюзию дома. И потому в коммуналках можно ходить по общим местам в домашнем халате. Или вообще...

– У меня очень хороший сосед! – радостно заявила она. – Правда, я его видела только раз...

– Сосед?

– Да, молодой человек, – поддразнивая Кирилла, с удовольствием проговорила она. – Работает шофером на международных рейсах. У него огромная машина, целый поезд! Он сейчас в рейсе, гуманитарный груз.

– Ну, ежели сосед! Да еще такой!.. – Кирилл по-хозяйски повесил свой мундир в шкаф и сел за стол. – У тебя была великолепная перспектива! Жаль!

– Почему – была? – словно обломком стекла, царапнула она своим тоном. – Почему – жаль?

– Потому что поезд ушел!

– Не говори гоп, – многозначительно заметила она и тем самым словно подожгла в нем уже потухшую ревность. Только вместо страшного старика художника в воображении сложился образ молодого и наглого шоферюги. Кирилл представил, как она, забывшись, выходит обнаженной на кухню, а этот международник жарит там яичницу. А может быть, выходит в таком виде умышленно – ведь это же ее дом...

«Как я вовремя успел! – подумал он. – А мог опоздать, на один день, на один час...»

– Кстати, он обещал привезти мне жалюзи на окно, – вспомнила она. – Днем от солнца невозможно спрятаться. И жарко...

«Конечно, поэтому ты будешь ходить по комнате голая, – подумал он. – Тебе же нравится такое состояние...»

– Что же... – Кирилл встал и прогулялся, сунул руки в карманы. – Когда он возвращается из рейса?

– Зачем тебе? – Она собиралась поить его чаем и хлопотала у стола. – Хочешь познакомиться?

– Да... Хочу его встретить где-нибудь возле города. Так сказать, на подступах.

– И расстрелять!

– Не-ет, – промолвил Кирилл злорадно. – Я раскатаю его гусеницами в блин! Я разотру его на асфальте вместе с твоими жалюзями.

– О, ревнивец! О, мой Отелло! – воскликнула она. – Пей чай – и в постель. Нет, сначала в душ!

Деловитый тон о постели и душе был еще опаснее, чем битое стекло. «Так просто?.. Все так просто...» После чая Кирилл без особой охоты и без всяких предошущений сполоснулся в душе – разумеется, в общественном, на двух «хозяев», где лежали предметы мужского туалета. И эти предметы вдруг натолкнули его на мысль, что он вовсе никакой не жених, а обыкновенный одноразовый любовник. Постоянный же и давний ее любовник – это шоферюга, который помог ей купить комнату, может, и денег дал. Очень удобно, когда ты в длительных командировках: квартира под присмотром, и бегать никуда не нужно...

И тогда Кирилл стал мстить своему сопернику. Он со злорадством вылил на себя два импортных мужских шампуня в упаковке «Эротика», выдавил в унитаз и смыл весь мужской крем до и после бритья, вылил туда же одеколон и, набрав воды в раковину, выпустил три баллона дезодоранта. Пусть он теперь воняет потом и бензином.

Все это было мелко, не по-офицерски, пакостно и одновременно приятно. Кирилл вернулся в комнату, где была уже расстелена постель на широкой тахте и горел интимный ночничок в изголовье.

– Ложись, – просто велела она и удалилась в коридор. Тихо стукнула дверь ванной комнаты.

«Жаль, жаль, – снова застучало в голове, как будто он не в постель ложился, а снова тонул. И топила его она, топила неожиданную, нечаянную любовь, на которую он даже не рассчитывал, отправляясь на поиск невесты. Где родилось это чувство – то ли в мастерской старика художника, то ли потом, когда клеили обои или купались в ночной реке; где был этот первый толчок, этот удар невидимого бойка, который воспламенил заряд?.. Пока она в ванной, нужно одеться и тихо уйти. И больше никогда не возвращаться сюда! Уйти! Ибо все то, что произойдет сейчас, только усугубит боль и потерю и ничего, кроме долгих дум о безвозвратности, не оставит. Так уже было, было...»

Но сквозь эти горькие размышления прорывалась та мелкая и мстительная нота, с которой он выливал шампунь и гасил баллоны с дезодорантом. Так просто уходить отсюда может только полный идиот! Наплевать на все! Сейчас она будет моя... Можно сказать, она – первый офицерский трофей его первой войны. И если от нее в буквальном смысле сходит с ума старик, знающий толк в женщинах, если шоферюга покупает ей комнату, только кретин и трус убежит с такого поля боя.

Он попробовал лечь на тахте поперек. И вместился...

Она вернулась из ванной в длинном, облипающем тело халате, и было ясно, что под ним больше ничего... Она была по-прежнему деловита и радостна.

– Ты еще не заснул?

– Я с детства боюсь спать один, – промолвил Кирилл с вызывающим намеком. Она же словно не заметила этого.

– Странно, куда пропал мой шампунь? Ты, что ли, израсходовал?

– Какой шампунь? – спросил он. – Если в эротической упаковке, то я. Мне показалось, это мужской шампунь.

– У меня другого просто не было, – смутилась она и возмутилась: – Зачем ты его весь истратил?

– Я же танкист, – со смешанным чувством острил он. – А танкисты чумазые, еще хуже шоферов. К тому же четыре года не был в бане!

– Спи, дурак, – сказала она и, сев к столу, включила маленькую настольную лампочку. – Тебе свет не помешает?

– На этом танкодроме смогу спать даже при дневном невозможном солнце...

– Счастливый! – вздохнула она и сняла с полки несколько тоненьких книжечек. – Ну, спокойной ночи. Спи.

– А ты? – настороженно спросил Кирилл.

– Мне сегодня спать некогда. Да и нельзя.

– Есть нельзя, пить нельзя, спать нельзя, – перечислил он. – И зачем такая жизнь?

– Не искушай, сатана, – полусерьезно сказала она. – Я и так сегодня с ведьмой купалась... Спи, сказано!

«Уж не в монастырь ли ты собралась?» – хотел спросить Кирилл и вдруг услышал ее приглушенный и какой-то новый голос:

– Господи, благослови... Отче наш, иже еси на небесех. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...

Он уже ничего не понимал, но чувствовал, что сквозь нагромождение своих догадок и размышлений, сквозь гремучую смесь своих восприятий и ощущений – одним словом, сквозь этот вселенский хаос вновь проступала та призрачная и нечаянная надежда...

– Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного...

Ему приснилось, будто он снова тонет, но не девичьими ногами опутанный, а скользкими и омерзительными рыбьими хвостами. Он не выдержал и вдохнул в себя воду. И удивительное дело – стал дышать водой, втягивая светлую и изрыгая черную, чернильную.

– Тиимать! – крикнул он от удивления и страха. И проснулся...

Она сидела на краешке тахты и зажимала ему пальцами нос.

– Доброе утро, – прогнусавил он.

– Ты во сне ругался, как последний ханыга, – заявила она. – Ужасно!

– Только ругался? – спросил Кирилл, потягиваясь. – А не кричал: «В атаку, за мной!» Или – «По танкам противника бронбойными – огонь!»?

Ему хотелось подурчиться – солнце уже блеснуло в окне и достало часы с кукушкой и с «тремя медведями» на циферблате; она была рядом, и весь вчерашний день ему не приснился. И теперь вставал новый, такой же необычный, взбалмошный и загадочный. Он попытался схватить ее и устроить щенячью возню, но она ловко увернулась и погрозила пальцем.

– Вставай! Десять минут на сборы и завтрак!

Сама была уже одета в легкое темно-бордовое платье, на шее – легкий газовый шарф. И завтрак – яичница и чай с бутербродами – стоял на столе.

– Лет через тридцать из тебя получится приличная жена, – обнадежил он, одеваясь. – Я согласен, подожду...

– Хам! Значит, тридцать лет я буду неприличной?

– Почему? Ты будешь просто кормить яичницей. И я согласен переждать этот срок! – Он сел к столу, схватил вилку. – Вкуснятина!.. А тебе опять нельзя?

– Опять, – сказала она с тоской.

– Нет, ты станешь хорошей женой! Тебя можно вообще не кормить! Экономия продукто-ов!.. Зарплату я домой приносить не буду, а сам стану питаться на халяву в солдатской столовой. – Он перестал жевать. – Нет, в самом деле, ты что, святая? Святым духом сыта?

– Перестань болтать, – обрезала она строго. – Шутки у тебя с утра...

– Виноват, – вздохнул Кирилл. – Просто утро хорошее... И я дожил до него. И не сбежал. А честно сказать – порывался...

– Спасибо...

– За что?

– За честность.

Она вдруг взяла вилку, потянулась к сковородке и уже наколола желток, однако отдернулась, вскочила:

– Нет! Удержусь!.. Доедай быстрее! Не соблазняй! Искуситель...

На улице было прохладно, безлюдно и как-то особенно светился воздух, словно в цейсовской осветленной оптике. Впервые они не летели сломя голову, шли чинно, под руку, и было обидно, что еще рано и почти нет прохожих. Газовый шарфик трепетал у нее за спиной и иногда касался щеки Кирилла, и ему чудилось, что это ее рука...

Он узнал вчерашнюю ночную дорогу: шли деревянными кварталами, ожившими и веселыми от петушиного крика, от коз, пасущихся на веревках, от веселой музыки из растворенных окон.

И вчерашнюю купальню он узнал, и реку, и горбатый пешеходный мост, по которому они перешли на другой берег. Прохожих здесь прибавилось, правда, шагали все больше старушечки с клюками, пожилые люди с маленькими детьми и редко – молодые девушки. Они влились в эту цепочку и скоро оказались у церкви, в отражении которой купались вчерашней ночью. Будущая жена Кирилла покрыла волосы газовым шарфиком, обмотала его вокруг шеи и шла потупленно. Перед дверью остановилась и, перекрестившись, поклонилась. Кирилл с любопытством следил за ней и потому не расслышал ее слов, сказанных тихо, в землю. А повторила она уже с недовольством:

– Сними фуражку!

В храме служба только начиналась, люди передвигались, негромко переговаривались, ставили свечи, писали какие-то записки. Она подвела Кирилла поближе к алтарю, в первые ряды, и, оставив его руку, замерла с опущенной головой. А он стоял во фронт с фуражкой на сгибе левой руки и, блуждая глазами по иконам, не знал, что делать. Он был некрещен и в церковь заходил всего один раз, в увольнении. Тогда ему не понравилось среди старух, и священник был какой-то убогонький, гнусавый, старый, что читал, о чем пел – ни слова не понять. Правда, Кирилл однажды даже ночевал в пустом, заброшенном храме во время учений по теме «Танковая рота в наступлении». Среди поля больше ничего не было, а танковая теснота уже грызла суставы и кости. Курсанты расстелили брезентовые чехлы и спали вповалку. И ночью ходили мочиться в дальний угол... Кто-то еще сказал, что этого делать нельзя даже в заброшенном храме, но на улице была темень и дождь, и потому над говорившим лишь посмеялись, мол, солдаты – святые люди, а война все спишет.

Стоя пред алтарем, напротив изукрашенных резьбой и позолотой дверей, Кирилл почему-то вспомнил именно этот случай и не увидел гнева в Божьих глазах на иконах. Напротив, они смотрели на Кирилла весело и с любовью. Быть может, потому, что солдаты действительно святые люди...

Он привык стоять в строю и оттого не чувствовал усталости, но она через час вдруг оперлась на его руку, обвела.

– Мне плохо... Душно... Выведи меня, – прошептала она.

Они осторожно пробрались через шеренги прихожан и вышли из церкви. Она отдышалась, а Кирилл засуетился, предлагая воды или вообще пойти на речку и искупаться. Однако

она лишь отрицательно мотала головой и потянула его на кладбище за храмом. Высокий старый лес поднимался стеной, как в Дендрарии, и среди деревьев теснилось множество могил с простенькими крестами и богатыми надгробьями из черного мрамора. Здесь, в тени, ей стало лучше, но она не хотела сидеть и все тянула в глубь кладбища, где заливался одинокий и совсем не пугливый соловей.

– Что-то тебе покажу, – проронила она. – Мне и раньше казалось, я жила уже... А когда увидела... Пойдем!

Возле обветшавшей, прогнившей насквозь железной часовенки она раздвинула кусты цветущей сирени.

– Смотри... Правда, похожа?

Из высокого надгробного камня с точеными шпилем и карнизами выступало девичье лицо с гладко зачесанными волосами – печальное, задумчивое и светлое, несмотря на то что было выточено из черного мрамора. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь сирень, окрашивали его в нежный розоватый цвет и словно оживляли камень.

– Когда первый раз увидела – чуть с ума не сошла, – шептала она. – Нет, скажи, правда, похожа? Или я навоображала себе?..

Кирилл, оберегая ее от веток, протиснулся ближе к черной чугунной оградке. И в этот миг боковое зрение запечатлело что-то пугающе-тревожное и неестественное – как тогда мраморную руку в Дендрарии. Но прямо перед глазами было надгробие с девичьим образом, которое притягивало взгляд. Схожесть виделась: высокий чистый лоб, гладкие волосы, чуть впалые щеки и нежный, какой-то ласковый подбородок. Схожесть была даже в том, что обе они смотрели друг на друга печально и задумчиво, и всякий третий, оказавшись рядом, ощущал какое-то тихое оцепенение, когда в голове нет ни единой мысли.

– Похожа, – с хрипотцой проронил Кирилл и искал взглядом то, что так неожиданно насторожило его. Рядом, за кустами сирени, виднелся еще один черный исполин с точеным, выпуклым крестом, за ним – поменьше, с шаровым навершием.

– Иногда прихожу сюда и стою, – призналась она. – А мой любимый цвет – сиреневый... За могилой никто не ухаживает. Она же умерла семьдесят пять лет назад!.. Надгробие врастает. Сначала я хотела убрать могилку, выполоть траву, снять дерн... Потом подумала – зачем? Пусть врастает. И кладбище это постепенно погрузится в землю. И черные камни будут стоять под землей вечно...

Кирилл слушал и бродил взглядом по могилам. И всякий раз внимание притягивал обелиск с шаровым навершием. Там тоже что-то было изображено, но скрывалось за сетью ветвей.

– Знаешь, кто-то ходит и разбивает камни, – продолжала она. – А теперь еще и воруют... Ее же никто не тронул. Ни одной царапины. И даже крестик цел... Знаешь почему?

– Почему? – машинально спросил Кирилл.

– Потому что она была красивая. А красота завораживает... Почему она умерла? Наверное, от чахотки.

– Подожди! – бросил Кирилл и, оставив ее, подошел к камню с шаром.

У самой травы, в углублении, обрамленном точеной рамкой, была надпись: «Полковник Ерашов Сергей Николаевич, родился августа 7-го дня 1856 года и преставился февраля 14-го дня 1910 года на 54 году жизни». Фамилия «Ерашов» была выделена такими крупными буквами, что все остальное занимало ровно столько же места. Она цепенила и притягивала взгляд точно так же, как печальный образ девушки.

Почему-то он никогда не думал о том, что здесь есть не только дом – родовое гнездо, парк-Дендрарий, насаженный многими поколениями предков, но еще и их могилы. Казалось, они исчезли бесследно и оставили после себя лишь вещи видимые и осязаемые, и что их больше *вообще нет*.

А они – вот, совсем близко! Под этой землею – прах, останки их существа, их плоти...

Он хотел вернуться к могиле девушки, однако «самый чувствительный инструмент» выхватил надпись на камне рядом – ЕРАШОВ! И тоже – рождение, смерть, возраст, с ятями, с вензелями заглавных букв и эпитафией: «Вкусивши вечный сон, ты не вкусил любви»... Тогда он уже умышленно пошел к следующей могиле – «Ерашова Елена Сергеевна...», рядом – маленькая детская плитка с крестом, а надпись как у взрослого: «Дворянин Ерашов Михаил Алексеевич... 3-х лет от рождения». Все камни исклеваны чьим-то острым стальным клювом, некоторые покосились, и все уже глубоко вросли в землю. Кирилл оказался рядом с железной часовенкой, пробитой солнечными лучами и молодой, не упругой березой. Под ветхой дырявой крышей с коваными вензелями было четыре надгробия, а пятое лежало у стены, видимо, приспособленное для сидения.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.